

Николай Водневский

ПОД
ПОКРОВОМ
ВСЕВЫШНЕГО



СВЕТ НА
ВОСТОКЕ

Николай Водневский

ПОД
ПОКРОВОМ
ВСЕВЫШНЕГО

УДК 821.161.1'06-94(73)
ББК 84(7Спо=Рос)6-442
В62

Водневский Н.

В62 Под покровом Всевышнего. — К. Свет на Востоке, 2016 — 160 с.
Издание второе.

ISBN 978-966-2089-85-1 (Укр.)

ISBN 978-3-944772-14-1 (Герм.)

Повесть-свидетельство христианского поэта и писателя Николая Водневского «Под покровом Всевышнего», как и все его литературное творчество, отличают правдивость, задушевность, образность и тонкий художественный вкус.

В этой повести Водневский описывает свое босоное, голодное детство, омраченное сиротством; юность, обожженную войной. И через все эти бедствия, горе и невзгоды он прошел под покровом Всевышнего, Которого любил, Которому доверял и Которому был верен. Вырос он в российской глубинке, где в атеистические годы веру в Христа хранили в глубине сердца. Его мать учила: «Сынок, молись Богу». Этому совету он был верен во все дни своей жизни. Перед своей смертью она сказала сыну: «Я вымолила тебя у Бога». И это он чувствовал в самые страшные минуты жизни. Всё его свидетельство указывает на Христа — единственную надежду человека и в земной жизни, и в вечности.

Изд. № 01.332

ISBN 978-966-2089-85-1 (Укр.)

ISBN 978-3-944772-14-1 (Герм.)

© «Свет на Востоке», 1958

*Памяти матери
Ксении Васильевны*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Так начиналась жизнь	9
Незнакомец	15
Памятные дни	21
Небеса проповедуют	27
За закрытой дверью	34
Божий экзамен	46
День на передовой	57
Ад на земле	63
А жить-то, братцы, хочется...	68
Дороги	82
В январе 1943-го	92
Церковь и люди	105
Ищущий находит	114
Новый человек	128
Крещение	135
Последний зов	149



Так начиналась жизнь

Первая страница моей повести начиналась в деревушке Боровке, носившей название от слова «бор», большого, верст на двадцать в ширину, соснового леса. За ним тянулась гряда огромных брянских лесов.

Себя я помню лет с шести, даже раньше. Старший брат настойчиво учил меня азбуке. Когда дошли до буквы «мягкий знак», он объяснил:

— Тебе шесть лет. Вот и пиши буквами «шесть». Видишь на конце крючок? Это — мягкий знак. Без него получится «шест», а не «шесть».

В нашей избе, над кроватью, во всю длину стены висел шест для одежды, и мне хорошо запомнилась разница в написании слов «шесть» и «шест».

Книг у нас не было, учился по букварю. Позднее, когда отец привез мне из города первую книгу для чтения, для меня наступил большой праздник.

В деревне школы не было. Немногие могли кое-как читать по печатному. Когда же, случалось, получали письмо, читать его ходили в соседнее село. В таком положении застала нашу деревню революция.

Я родился после революции, в те годы, когда много говорили о правах, о свободе, об образовании. Когда леса перешли в ведение местных советов, отец стал лесником. Оттого все мое детство связано с лесом. Я часто уходил с отцом на весь день в обход по лесным тропинкам и проселкам. Отец любил природу, любил зверей. Он всегда имел за плечами двухстволку, но стрелял только

от скуки. Я не помню, чтобы он застрелил хоть одного зайца.

От отца влетало мне часто за шалости и непослушание. Но один эпизод, поразивший меня родительской гуманностью, я хорошо помню и сегодня.

Думаю, мне тогда не было и шести лет. Начиналась весна. Под окнами стучала капель, со стрех обрывались сосульки, разбиваясь со звоном, как стекло. На полях уже виднелись проталины, чернел лес. В избе было тихо, скучно, сонливо. Брат мой вдохновенно мастерил скворечник, а я, взобравшись на шкаф, нашел на полке банку из-под чая. Открыл я ее без труда. Там лежали красиво разрисованные бумажки. Обрадованный интересной находкой, я побежал к соседке — черноволосой, смуглой девочке Нине. У нее сразу же появилась идея: вырезать из этих бумажек картинки и наклеивать их на окна.

Нашу «работу» прервала мать Нины:

— Ой, что вы наделали! Это же деньги!

Но было уже поздно. Все деньги оказались изрезанными на куски.

Пришел отец. Он взглянул на мои дела и ахнул:

— Корову порезали!

Отец долго копил деньги, чтобы купить корову. Я их изрезал ножницами.

Поняв весь ужас моего преступления, я плакал. Отец взял меня на руки и понес домой. Я схватил его за шею, и, прижавшись к давно не бритой, колючей щеке слезно просил:

— Папочка, прости...

И папочка не наказал меня, простил.

Я забрался на печь, в угол, и там уснул. А когда проснулся, у изголовья нашел мое любимое лакомство — белоснежный кусок сахара. Его положил отец.

Отец мой в церковь не ходил и очень не любил священников. Но он никогда их не осуждал, а только говорил: — В Бога я верю, а попам — нет, нет у них Христовой правды.

Мать моя была религиозной, и вся ее жизнь была связана с церковью. Помню, как на Пасху, отправляясь в соседнее село ко всенощной, мать впервые взяла и меня. Запах ладана, воска, смолистых еловых ветвей, которыми был устлан пол, блеск икон и свечей, отливающее золотом паникадило, хор и басистый голос священника в серебристом одеянии — все это надолго врезалось в моей памяти. Обстановка в церкви навевала на меня страх. Мать ставила свечи и долго, коленопреклоненно молилась. Я прислушивался к ее однообразному шепоту, к ее вздохам и понял, что матери очень тяжело живется и что она ищет помощи у Бога. А Бог на нее сердит и не хочет слушать.

В церкви я скоро подружился с местными мальчишками. Они пригласили меня в клуб, напротив церкви. Там шла антирелигиозная пьеса, играла гармошка, голоса подпевали демьяновские частушки:

Цены драл с нас батя тучный,
Мертвым спуску не давал,
А теперь за харч насущный
Скот пасти нам батя стал.

Клуб был переполнен молодежью, плавал махорочный дым, щелкали семечки. С большим трудом

я выбрался во двор. Там шла кинокартина. На экране бегали фигуры, стреляли из пушек, горели дома. Я видел кинокартину впервые и так ею увлекся, что совсем забыл о матери и о церкви. И только когда вокруг церкви начался крестный ход с пением хора, началась традиционная стрельба, я вспомнил о матери и с большим трудом нашел ее в кругу женщин, разложивших куличи, ветчину и яйца для освящения.

На рассвете мы отправились домой. Иссиня-голубое небо светлело, поднималось солнце, в лесу начинали петь пташки. Лошаденка, предчувствуя приближение дома, везла нас охотно. В пути мать меня корила:

— Я тебя в церковь взяла, чтобы ты Богу молился, а ты, значит, к сатане сбежал... Накажет тебя Бог хворобой али чем другим...

— Всех накажет, кто в клубе был? — спрашивал я.

— Всех, конечно, всех. Может, не сразу, не в одно время, но Бог всех безбожников накажет...

Мать заметила раскаяние на моем лице и добавила:

— А ты молись, Бог смилостивится и простит твой грех. Бог, как отец: кто кается — прощает.

Наскоро разговевшись, изба погрузалась в сон. До обеда обыкновенно спала вся деревня. В полдень она оживала. Шумливая детвора, как цыплята из лукошка, высыпала на улицу, начинались игры.

На второй день к нам приезжали гости: зять, дядя Егор, большой, лысый с умными глазами, — заходили соседи. На столе появлялась четверть крепкого самогона, окорок, куличи, яйца. Отца я никогда не видел пьяным, пил он хитро, небольшими глотками, но угощать дру-

гих любил. Зять наш, по-детски застенчивый, тихий, кроткий человек, после первого стакана преображался. Каждое неосторожное слово могло его обидеть и вызвать гнев. Он становился болезненно придирчивым, лез ко всем драться, бил посуду и ругался. Для таких случаев у отца всегда была припасена веревка. Он зорко следил за поведением зятя, и как только его буйство переходило границы, подавал сигнал. Сыновья дяди клали его на пол и вязали, а он в это время плакал, бился головой о пол, кусался, потом погружался в крепкий, непробудный сон. Наутро он просил у всех прощения, застенчиво улыбался и тихо, как ягненок, подходил к отцу:

— На этом мой зарок, простите... Пить больше не буду. Конечно, этих обещаний он не исполнял.

За столом кто-нибудь из гостей затягивал старинную грустную песню. Ее подхватывали другие. Изба сотрясалась от мощных мужских голосов. В песнях выливалось все народное горе, тяжелая судьба русского крестьянина. Потом отец брал скрипку, подстраивал ее почти у самого уха и, взмахнув смычком, начинал свою любимую неаполитанскую мелодию:

Я знаю солнце, оно светлей лазури...

Играл отец вдохновенно, вкладывая всю душу в каждое движение смычка. Гости любили игру на скрипке, сидели молча, каждый со своей думой, а когда отец кончал игру, кто-либо ронял слова:

— Ты, Константинович, всю душу выворачиваешь. Выпьем, что ли, за лучшую жизнь...

В праздничные дни в деревне пили все. Рождество, Крещение, Пасха никогда не проходили без драки.

Дрались отчаянно и хлестко, иногда из-за пустяков. В ход шли не только кулаки, но и бутылки, калоши, колья. Но на другой день, после похмелья, примирились, и снова начиналась мирная, трудовая жизнь деревни.

Церковнослужители не имели, да и не могли иметь положительного влияния на народ. Они пили сами.

Так было в годы НЭПа, до коллективизации.

Больно и тяжело было смотреть Господу на разгульную, буйствующую Русь, прозванную святой. Терпению Всевышнего приходил конец.



Незнакомец

В январе 1929 года в наших краях стояли лютые холода. Суровые, морозные ветры и большие снегопады держали людей дома. И я не ходил в школу, чтобы не затеряться и не замерзнуть на дальней, глухой дороге.

Однажды утром к нам кто-то постучал. Мать открыла дверь. В избу вошел высокий человек в полушубке, с густо заиндевелой бородой. Он снял шапку, стряхнул у порога снег, на худощавом лице его с глубокими умными глазами мелькнула виноватая улыбка.

— Мир вам, христиане, — проговорил он внятным певучим голосом. — Нельзя ли у вас обогреться?

Мы охотно дали ему место у железной печи, что в эти дни топилась у нас постоянно.

— Устали? — спросила мать участливо. — Может быть, испили бы чайку?

Незнакомец согласился.

Это был странствующий сапожник, как он рассказывал о себе. Он шел из села в село, останавливаясь в домах, где ему находилась работа. Такая работа была и у нас.

— А об оплате не спрашивайте, — заранее заявил он, как только заметил, что мать ищет повода спросить о цене. — Я живу не для себя, а для бедных людей. Кто что даст, то и хорошо.

Он работал у нас неделю, примостившись у окна, где было больше света. Нам очень нравился его веселый, общительный характер, а больше всего то, что он не курил, не ел много мяса, которого, кстати, у нас тогда

не было и в помине. Рассказчиком он был интересным, увлекательным. Долгими зимними вечерами к нам заходили соседи послушать необыкновенного человека.

В первый вечер сапожник познакомился со мной. Интересовался, чему и как нас учат в школе. Ходил я во второй класс.

Помню, мать не без гордости рассказывала обо мне полусшепотом:

— Он у нас дуже смышленный. Тянет его к книжкам, как к меду...

Однажды сапожник спросил меня:

— Толстого Льва Николаевича читал?

— Как же, «Хаджи-Мурата» читал. «Корнея Васильева» читал, как он из дому ушел, а потом опять возвратился. Очень хороший рассказ. Так с соседом нашим было...

— Еще что читал?

Ничего другого вспомнить я не мог.

Вечером возле коптящей с разбитым стеклом пятилинейной лампы я читал из хрестоматии старшего класса рассказ «После бала». Пришли соседи. Все слушали внимательно. Сапожник часто останавливал чтение и пояснял:

— Вот так было на Руси. Хамелеоны какие... На балу — герой, рыцарь, ручки дамам целует, а с людьми — кат.

— А кто такие хамелеоны? — спросил кто-то из соседей.

— Это маленькие ящерицы, умеющие быстро менять окраску. В Африке водятся.

— Так оно и теперь есть. Всегда так было, — дополнил наш сосед.

Когда я читал о наказании солдата шпицрутенами, сапожник меня остановил и сокрушенно проговорил:

— Вот так и Христа били. А за что? За то, что Он принес свет человеку, учил любить ближнего. А Его положили на крест, гвоздями прибили...

— Это евреи делали, они и отвечать будут, — заметил кто-то из темного угла.

— А мы-то лучше евреев, что ли? — оспаривал другой. — Добрым людям и теперь нет на земле места. Не убьют, так в Сибирь сошлют...

— Что же дальше было? — спрашивала я, захваченный историей Христа.

— Шесть часов висел Он на кресте. И умер. Похоронили Его в пещере Иосифа...

— Христос воскрес, — вмешалась в разговор мать.

— Он воскрес в духе и истине, — пояснял сапожник. — Его идеи не умрут вовеки.

Долго рассказывал сапожник об учении Христа.

За окном бушевала вьюга. Скованные морозом окна постепенно оттаивали: весь вечер в железную печь подбрасывали дрова. Старый кот, с порыжевшей от огня шерстью, дремал возле печки, водил ушами, будто прислушивался к тихой беседе бородатого незнакомца.

Одно матери не нравилось: перед сном сапожник творил про себя молитву, но не крестился, словно иконы в углу стояли не для него. Мать не решалась спросить, что это значит, но в семейном кругу решили, что он какой-то сектант. Это слово для меня было большой загадкой.

Вечерами ложились спать поздно. Мне долго не спалось. Иногда ветер назойливо стучал ставнями, шумело в трубе, в избе холодало. Я думал о сапожнике. Мне

он казался необыкновенным человеком, и его одинокая, бесприютная жизнь вызывала во мне жалость. Засыпал я незаметно, а когда просыпался, сапожник уже сидел перед окном за примитивным верстаком. Он постукивал молотком или делал дратву и напевал тихо, но проникновенно и четко выводил слова:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман тернистый путь лежит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

Мать хлопотала у печки. Яркое пламя освещало ее усталое, покрытое преждевременными морщинами лицо. Видно, пение сапожника ей нравилось, она к нему прислушивалась и, казалось, переживала каждое слово этой задушевной песни.

Однажды сапожник прервал песню и, обращаясь к матери, спросил:

— Вот вы, Ксения Васильевна, говорите, что всю жизнь думаете о спасении души, о Царстве Божьем. А Царство Божье внутри вас есть. Смотрю я на вашу жизнь и думаю: святая у вас душа, а вы сами того не знаете...

— Где уж нам до святых? Дня нет, чтобы без греха прожить. Не делом, так словом согресишь, не словом, так мыслью.

— А разве святые безгрешны? Я скажу вам, что написано: «Любовь покрывает множество грехов». Так что главное — в любви. Если она есть в сердце, значит, и Царство Божье там обитает, — наставническим тоном говорил сапожник.

Я прислушивался к его речи, мало разбираясь в словах. Но я знал, что говорил он о чем-то важном, нужном каждому человеку, говорил о Боге.

Прошла неделя. Однажды вечером, когда вся работа была уже закончена, сапожник попросил у меня лист бумаги. Несколько минут он сосредоточенно думал, как бы что-то решая, а потом вытащил из кармана огрызок карандаша и начал писать.

Наутро, перед уходом, он поблагодарил за оказанный ему прием и дал моей сестре исписанную бумагу. По его лицу скользнула и спряталась в бороде неподдельная грусть.

— Иду я далеко, на юг. С вами, верно, на земле не встречу. Но вот вам важное письмо. Читайте его и храните. Старайтесь жить, как написано. Это ваше евангелие. Перепишите его и дайте другим.

Мать подала ему узелок с пищей на дорогу и немного денег.

— Нет-нет! — сказал сапожник. — Я богат, живу верою...

Мать настаивала на своем. Ведь сделал он для нас очень много.

Наконец сапожник взял деньги и пересчитал их.

— Это много. Один рубль возьму, на всякий случай, а остальное раздайте нищим, во имя Христово. Теперь нищих много...

— Возьмите хотя бы вот это... Ведь холода-то какие, простудитесь, — настаивала мать, предлагая ему шерстяной отцовский шарф. Но и от шарфа сапожник отказался.

За неделю я успел привязаться к незнакомцу и полюбить его. Расставаться с ним было жаль. Немного спустя я вышел на улицу. Снова занималась метель, снежная поземка заносила дорогу. Незнакомца я больше не увидел. Мне показалось, что Бог вознес его на небо.

Вернувшись в избу, я рассказал об этом матери. Она молча выслушала меня и сказала, вздохнув:

— Это был Божий человек, не иначе. Теперь таких нет.

Позднее мы узнали, что таинственный незнакомец был толстовцем. В соседней деревне он провел месяц. Там он больше говорил о себе, об учении Христа, о Евангелии. Но о подобном письме, какое оставил он нам, никто не рассказывал. А написал он приблизительно вот что:

«Уходя от нас, Иисус Христос заповедал нам любить Бога и ближнего своего, как самого себя. Его люди распяли на кресте за добрые дела, но Его пример остался живым для всех людей, кто хочет иметь Царство Божье в сердце. И я вам говорю: не убивайте, не ругайтесь, не сердитесь, не клянитесь, не лгите, прощайте обиды, помогайте бедному — и вы сподобитесь быть сынами человеческими. Ваше счастье в вашем сердце. Берегите сердце от греха. Любите и милуйте. Если будут бить вас, не уклоняйтесь от удара. Побеждайте зло добром. Свет побеждает тьму, а истинный свет — это учение Христа».

Так впервые услышал я, что есть на свете Евангелие, а в нем — учение, не от людей исходящее, а от Бога. Я много думал об этой книге и готов был все отдать, чтобы ее иметь. Незнакомец заронил во мне интерес к этой книге. Прочесть Евангелие мне довелось ровно через 15 лет.

Памятные дни

Низкое серое небо висело над почерневшим огромным лесом, над деревушкой, спрятанной между грядой низкорослого березняка и огромных хвойных массивов. Рябоватые болотца, порыжевшая осока, мелкий кустарник и клочки убранных картофельных полей — вот ноябрьский пейзаж нашей местности.

День был тоскливый, сырой, холодный. Я шел из школы лесом, напрямик, по приметным стежкам сокращая четырехкилометровую дорогу. В лесу было тихо, по-осеннему скучно. Бледно-желтые листья ворохом лежали на сырой земле. Часть их была еще на деревьях. После дождей по обочинам дорог, у пней, в ту пору росли опенки. Я снял рубашку, завязал рукава и наполнил ее грибами.

Вечер наступил внезапно. Осенняя темень уже села на деревню, во дворах лениво лаяли собаки, пахло дымом, сеном, свежим молоком и навозом.

Старшая сестра встретила меня со слезами. Ее слабые от рождения глаза вспухли и покраснели — весь день плакала. Растерянно метаясь по избе, она говорила полусшепотом, чтобы не тревожить больную мать:

— Боже, Боже! Что же нам делать? Откуда беда такая?

Я стоял у кровати и смотрел на больную мать. Маленькая коптящая лампа освещала ее вспухшее неузнаваемое лицо. Она тяжело дышала и безразлично смотрела в низкий, почерневший потолок. Видно, ей было тяжело справляться с болями.

— Иди к председателю, проси коня. Мать надо везти в больницу... — распорядилась сестра.

Председатель колхоза, Калина Налигацкий, полный, плечистый мужчина лет сорока пяти, с грубыми, словно топором вытесанными чертами лица, сидел в канцелярии, о чем-то думал и нервно барабанил пальцами по столу. Его покрасневшие глаза остановились на мне.

— Что тебе надо? — спросил он скрипучим с похмелья голосом.

— Мама заболела. В больницу надо... — начал я нерешительно.

— Никакой больницы! Нет коней. У нас теперь молотьба, план выполнять надо.

Я расплакался:

— Мама умрет... Что мы будем делать?

Налигацкий начал просматривать газету.

— Сестра на работу не выйдет... — пробовал я угрожать.

— Выйдет! Еще как выйдет! — отвечал он, не поднимая головы. — Я раз сказал — кончено. Кто я тебе? Председатель али нет?

Налигацкий был человеком партийным. Он был прислан из района наладить почти развалившееся колхозное хозяйство. Его боялась вся деревня. Не сказав больше ни слова, я ушел домой.

Мать заметно волновалась, но пыталась нас утешать:

— Не беда, дети... Если Богу угодно, выживу. А нет — на то Его воля. Мне все равно уже никакой доктор не поможет. Вот только бы селедочки кусочек. Соленького хочется...

Во всей деревне не было ни у кого селедки и в помине.

Рано утром, когда деревня еще спала, я ушел в город, припрятав в кармане трехрублевую бумажку — подарок от брата. Старший брат в это время отбывал воинскую повинность в частях Красной Армии.

Шестнадцать верст до города я не шел, а бежал. Хотелось угодить больной матери, сделать ей что-то хорошее. И как велико было мое разочарование, когда во всех известных мне лавках не оказалось не только селедки, но вообще никакой рыбы. Рыбные магазины торговали уксусом и спичками.

Может быть, в то время это было хорошо: соль для матери, больной воспалением почек, была крайне опасна.

Пришел домой поздно вечером. Мать говорила мало. О селедке больше не вспоминала.

— Где же ты, сыночек, был?

Я ничего не ответил, чтобы не сказать матери неправды.

Через несколько дней ей стало еще хуже. Опухоль все больше наливала ее ноги, руки, лицо, делала ее совсем неузнаваемой.

— Подойди, сынок, ко мне, — сказала она мне однажды утром. — Умру я... — проговорила она шепотом. — А ты не плачь, не горюй. Я вымолила тебя у Бога...

Она с большим трудом подняла руку и положила мне на плечо. В ее больших, проникнутых любовью глазах стояли слезы.

— Одно прошу тебя, дорогой, — продолжала она еле слышно. — Молись Богу. Он поможет. Не забывай...

Мать закрыла ввалившиеся глаза и несколько минут лежала в забытьи. Я смотрел на нее сквозь слезную завесу, и никогда мне мать не казалась такой дорогой и близкой, как в ту минуту. Сестра спешно снарядила меня к тете, что жила от нас в трех верстах:

— Скажи, мама умирает...

Я не верил этому и с такой вестью пошел неохотно.

В этот день шел мокрый снег. Он слепил мне глаза и падал за шею. На поляне, за деревней, где стоял большой ветвистый дуб, неожиданно прямо передо мной упала ворона, но, едва коснувшись земли, взмахнула крыльями, испуганно крикнула и улетела в лес. Наверное, она на дубу уснула. Я принял это за плохое предзнаменование. Первый раз с ужасом подумал: что же буду делать, если мама уже умерла? Куда я пойду?..

Вернулся домой с тетей. Мать, убранная в серое платье, которого я никогда у нее не видел раньше, лежала на широкой скамье. У ее изголовья бледно мерцал огарок свечи. Непривычно пахло воском и нафталином. На щеках матери еще не разошелся предсмертный румянец. Опухоли на лице как не бывало. Я всматривался в ее лицо, и мне казалось, что она вот-вот откроет глаза и скажет:

— Ну как, сынок, устал? Полезай-ка на печь, обогрейся...

Но этого не могло случиться. Спазмы в горле перехватывали мое дыхание, и я, забившись в угол, впервые по-детски искренне, слезно помолился Богу:

— Боже, не оставь, помоги мне, сироте... Я теперь один...

От собственных слов я еще больше расплакался и убежал во двор, где под поветью лежали прошлогодние дрова, заготовленные отцом. Там было тихо и тепло.

На следующий день, утром, изба наполнилась соседями. К вечеру приехали дальние родственники. Много было слез. Не плакал только товарищ председатель. Он по-прежнему ходил по деревне пьяный, покачиваясь с боку на бок. К нам ни разу не зашел.

У матери была предсмертная просьба: похоронить ее по православному обычаю, со священником. Но исполнить ее не удалось. Единственный на всю известную нам округу священник, отец Василий Тищенко, тихий, отзывчивый, добродушный человек, отказался приехать на похороны.

— Опять меня посадят, — говорил он в оправдание. — И так налогами душат, нет спасения, а поехать к вам, в другую деревню, — тогда поминай как звали. А у меня ведь дети...

Но у нас обнаружилась еще одна беда: не было досок, чтобы сбить гроб. Муж сестры, однако, к концу второго дня где-то нашел две осиновые доски, из которых и смастерил гроб.

Хоронили мать в непогоду. Плакало небо дождем и снегом. Темно-серые тучи низко плавали над кладбищенскими деревьями. Я стоял у гроба и глотал слезы, но они не были солеными. Может быть, потому, что их было много.

Никогда я себя не чувствовал таким несчастным, как в этот день, 5 декабря 1935 года. Этот день совпал с государственным праздником, днем принятия сталинской конституции.

Ночью я не мог уснуть. На дворе снова занимался вечер, под окном шумели клены. Было больно от сознания, что в такую погоду в могиле темно, холодно и нечем дышать.

А несколько дней спустя я видел сон: мать стояла у дверей в том же сером, неношеном платье. Я хотел было броситься к ней навстречу, но не мог: что-то держало меня на месте.

— Мне хорошо, очень хорошо здесь, сынок, — сказала мать. — У нас всем хорошо...

Когда проснулся, испуганно стучало сердце. Жалел, что не заметил лица матери и не сказал ей ни слова. А сказать было что.

Так начиналась жизнь.



Небеса проповедуют

Кто не помнит прошлого,
у того нет будущего.
Восточная мудрость

Яродился в стране, где Творец мира, Хозяин Вселенной — Бог — пишется со строчной буквы. Я вырос в советской России. Этого было достаточно, чтобы очень мало знать или совсем не знать о Божьей любви к человеку, о Христе, о спасении души верою.

Отец мой, бывший лесник, боясь социальных преследований, ушел из дому. Мои сестры были заняты своими семьями, а единственный брат был взят в армию. Таким образом, я оказался выброшенным на улицу, где бродило немало мне подобных детей в поисках куска хлеба.

Нужно сказать, однако, что сестры мои приложили немало старания, чтобы их брат мог «выйти в люди». Они делали все, что могли, по условиям того времени, чтобы я не оставлял школу.

Каждый год я нанимался на несколько летних месяцев в подпаски к многолетнему пастуху нашей деревни, Ануфричу. Он платил мне хлебом, картофелем, колхоз начислял полтрудодня, и я гордился своим собственным заработком.

Тяжелым для меня временем было раннее утро. Сон настолько меня одолевал, что старшей сестре несколько раз приходилось лить холодную воду на мою голову.

Летом я спал на сеновале. Пробуждался под щебетание неугомонных ласточек. На ходу протирал глаза и плелся за стадом, мокрый до пояса от густой росы.

Летние дни у стада казались очень долгими. О времени судили по солнцу. От его восхода и до захода я много раз измерял свою тень. Когда она становилась короче двух шагов, стадо направляли к Горелому болоту на «стойло». Там Ануфрич раскладывал костер, бросал в него сырые сучья. Дым был верным средством для избавления от назойливых полчищ слепней, оводов и комаров.

Обед приносили нам из деревни поочередно: горшок теплого картофельного супа, несколько ломтей хлеба и кувшин молока.

Осенив себя крестом, Ануфрич шептал молитву, потом привычно разламывал хлеб и, подавая мне добрую часть, никогда не забывал сказать:

— Бери, что Бог послал. Подкрепляйся, парень.

— Как же Бог послал, когда нам люди принесли? — спросил я однажды.

— А Бог как посылает? С неба бросает, что ли? Вот так, через добрых людей и кормит нас, бедных.

— А богатых кто кормит? — спрашивал я.

— Кто же у нас богатый? Вишь, теперь у нас равенство: все бедные.

— Все да не все. Вчера директор МТС в колхоз приезжал на автомобиле, блестящем, как новый. Он-то не бедный, — возражал я Ануфричу.

— Ну, дружок, это люди особой статьи, партийные. Нам не чета. А все равно и они бы околели без Бога...

Ануфрич не любил моих вопросов, был со мной неразговорчив и часто зол. После обеда он уходил в тень и укладывался подремать. Я наскоро ел свой обед, потом ложился на спину и долго, до слез всматривался в загадочное голубое небо. Смотреть в небо было моим излюбленным занятием. Стадо пряталось от жары в кустах, и я мог лежать и предаваться своим думам.

Птичий хор, несмотря на полуденный зной, пел свои песни. Вблизи, полуоткрыв рот, храпел Ануфрич. Монотонно, как ослабевшая струна, гудели оводы.

«Как все красиво устроено на земле! — думалось мне. — А кто знает, как появилась Земля, что было вначале? Павел Демьяныч, местный учитель, говорил: „Не верьте поповским сказкам. Землю Бог не создавал, потому что Бога нет. Земля произошла от Солнца, а Солнце само собой произошло... Наукой доказано“.

Но почему же теперь ничего не происходит „само собой“? — возникал неразрешимый вопрос. Вот, допустим, ложка. Она сама собой не произошла. Ее сделали, чтобы есть суп. А как же такая огромная и красивая Земля, а на ней цветы, леса, луга, реки — как это все могло произойти „само собой“?

„Человек произошел от обезьяны, — говорил учитель. — Англичанин Дарвин доказал это“.

Допустим так, — размышлял я. — От кого же обезьяна произошла? От более простейшего. А то, простейшее, от кого произошло? Из живой клетки...»

О клетке я имел тогда очень отвлеченное понятие, но мои мысли на этом не останавливались, а шли все в том же направлении: «А та, живая клетка, как появилась?»

От кого она произошла? „Из воды и воздуха“, — объяснял учитель. А вода и воздух от чего произошли? „Вода и воздух всегда были...“»

Такой ответ мне очень не нравился. Если это так, то почему же теперь не делаются эти живые клетки из воды и воздуха?

Я старался припомнить каждое слово, сказанное когда-то учителем. В моей голове назрело много вопросов, и все они стояли, как непоборимые великаны. Я с нетерпением ждал дня, когда оставлю стадо и пойду в школу, чтобы еще раз спросить обо всем Павла Демьяныча.

Все мои размышления обрывались на живой клетке — и дальше не было дороги. Я знал о существовании микроскопа, но никогда его не видел, и мне хотелось хоть один раз взглянуть на это таинственное создание — живую клетку, как на великое чудо — начало всех начал.

Пастух Ануфрич с белой, как капустный лист, окладистой бородой, не мог удовлетворить мою любознательность. Растягивая слова охрипшим от простуды голосом, он повторял одни и те же фразы:

— Испортился народ. Совсем испортился...

И строго, с укором поглядывая на меня, сердито говорил:

— Молоко на губах не обсохло, а вишь куда тебя тянет! Скажи ему, сколько лет Земле. Чудак ты, парень. Разве это кому-то ведомо?..

Прищуривая и без того узкие, всегда опухшие глаза, с густыми седыми бровями, Ануфрич поднимал лицо к небу, словно искал там ответа на мой вопрос и через минуту добавлял:

— Богу ведомо, а не мне. Почему я знаю? А ты, милочка, смотри. Нам много знать не полагается... За это бьют теперь. Ох, и больно бьют...

На этом наш разговор заканчивался. Ануфрич вставал неохотно, лениво разминал ноги, встряхивал равную одежду и, как бы заключая наш разговор, выводил с особо певучей интонацией:

— Тебе, милочка, поговорить бы с нашим попом. Вот умная голова! Тот все знает. Он говорил мне: «Вся Земля Словом сотворена». А каким словом? — на это ответа не дает, боится. Дело его гиблое. Пчеловодом заделался. Живет себе на пасеке, как в раю, по ночам на звезды Богу молится. Вот так оно... Времена, милочка, такие. Держи язык за зубами...

Иногда я уносился мыслями в неведомые мне большие города, где, как я слышал, живут всезнающие, ученые люди. Они смотрят на небо в большие трубы с увеличительными стеклами, смотрят на солнце, и у них не болят глаза... О, как мне хотелось взглянуть на небо через такую волшебную трубу и там найти разгадку многочисленным вопросам детской фантазии!

Через несколько лет удивительным образом сложились обстоятельства, и я после окончания школы-семилетки попал в город, где был принят на рабфак*.

Это были крайне тяжелые годы в наших краях. В первый год учебы правительство дало мне сорок рублей ежемесячной стипендии. Радости моей не было конца. Но чтобы прожить на эти деньги, нужно было отказаться от завтрака, а после занятий обед составлял фунт хлеба и немного сахара. Только два раза в неделю

*Рабфак — Рабочий факультет, среднее учебное заведение.

я мог позволить себе зайти в студенческую столовую, чтобы купить горячего супа и стакан киселя.

С одеждой дело обстояло не лучше. Даже позднее, когда стипендия была сто рублей в месяц, я в одной рубашке-косоворотке ходил на занятия весь учебный год. Когда она начинала блестеть от грязи, я снимал ее вечером и стирал под рукомойником почти без мыла, потому что мыло стоило дорого. За ночь рубашка высыхала, утром я разминал ее руками, и она снова была на моих плечах.

Помню и, наверно, никогда не забуду, как томительны были последние часы занятий. От мыслей о пище рот наполнялся слюной, в животе появлялась боль, тошнило. На одном из таких уроков я сидел за столом и смотрел на доску, где решали геометрическую задачу, но думалось о другом: как сегодня пообедать? До получения стипендии оставалось еще несколько дней, а в кармане было только 30 копеек. У многих друзей я уже был в долгу.

Учитель математики, хромой, неопределенных лет человек, с женским и в то же время строгим выражением лица, всегда чем-то недовольный, по глазам умел читать мысли студентов:

— Водневский, к доске! Продолжайте решение задачи...

Я вышел вяло, неохотно, как будто на казнь. Меня бросало в пот, решение продвигалось медленно, но верно. Урок затягивался. Учитель сидел с искривленным выражением лица, словно во рту у него был укус, и молча смотрел на меня. Это еще больше меня смущало. Наконец он встал и медленно произнес:

— Удивительно способный юноша, но ужаснейший лентяй.

На последних словах он сделал особое ударение.

Прозвенел звонок.

Сосед подошел к учителю и сказал ему несколько слов обо мне. На самом деле в ту минуту серая рублевая ассигнация была для меня интересней самой интересной теоремы.

А после урока в шумном, многолюдном коридоре кто-то взял меня за плечи. Я повернул голову и увидел учителя математики. Он заглянул мне в лицо иным, никогда ранее не виданным, сочувствующим взглядом, который долго остается незабываемым.

— Вороне Бог послал кусочек сыру... — сказал он шутливым тоном и что-то сунул в мой карман. — Я был немножко не прав... — добавил он смущенно.

Когда он скрылся за дверями преподавательской комнаты, я обнаружил в кармане пятирублевую бумажку.

Пришлось вспомнить пастуха Ануфрича и согласиться с его словами: «Через добрых людей Бог кормит бедных...»



За закрытой дверью

В холодные декабрьские дни 1939 года, когда скованные морозом окна не оттаивали несколько недель подряд, я оставил угрюмое студенческое общежитие и снял дешевую комнатуху в отдаленном и глухом районе города Н. Старый сгорбившийся домик с двумя комнатами и несколькими каморками стоял в глубине густого сада. Весною здесь буйно цвела черемуха, и ее приятный запах наполнял сердце радостью. Я любил этот район и был очень рад приветливой хозяйке Прасковье Ивановне Ветковской.

34 | Это была одинокая, казалось, всеми забытая старушка лет шестидесяти, с чистым, добродушным взглядом, в платке, прикрывавшем лоб почти до бровей, внимательная и на редкость отзывчивая душа. Она охотно предложила мне одну из своих каморок с кроватью и столиком, с двумя стульями и с окошком в сад. Небольшая плата была по моему карману.

Прасковья Ивановна любила днями сидеть в своей комнатке, разговаривать с кошкой и пить бурый липовый чай. Когда рано утром, очистив дорожки от снега, я собирался в институт, она приносила мне чашку сладкого чая и, ласково улыбаясь, говорила:

— Погрейся, парень. Чаек этот нужный, лекарственный, полезительный. Я вот всю жизнь пью и к докторам дороги не знаю...

Однажды во время лекций я почувствовал себя плохо. Вернувшись с занятий раньше обыкновенного, я уже

на крыльце услышал звуки молитвенного пения, доносившегося из комнаты Прасковьи Ивановны, как из подземелья. Слабые старческие голоса пели нестройно. Подпевая густому басу, слабенький дискант выводил одни и те же неразборчивые слова.

Я осторожно вошел в свою комнату, согреваемую теплым кухонным воздухом. Прилег на кровать. Пение незнакомых людей будило во мне какие-то воспоминания, трогало сердце, напоминало о существовании иной, неземной, жизни. Прислушиваясь к голосам, я понял, что в «келье» хозяйки происходит тайное богослужение.

В городе к тому времени уже не было ни одной открытой церкви, хотя десятки куполов, часто без крестов, все еще возвышались над серыми однообразными домами, над редкими рощицами и садами. Церковными зданиями пользовались для нужд народного хозяйства, для «культурной и просветительской работы», для складов, клубов, изб-читален, для музеев и прочего.

Через оттаявшее за день окошко виднелся тихий, заснеженный сад. Две-три пичужки беззаботно прыгали по веткам. Молчаливые деревья бесшумно осыпали иней. Красное предзакатное солнце косыми лучами скользило по крышам соседних домов. Лучи заметно меркли. Темнело и морозило. Моя узкая, как гроб, комната показалась мне еще более непривлекательной. Весь день меня беспокоил неумолимый голод. Все это создавало удручающее настроение. Жизнь казалась безрадостной, неинтересной, бесцельной.

«Вот за стеной люди молятся Богу. У них есть вера, есть какая-то высшая цель, есть надежда, пусть несбыточная,

но она есть. А у меня что? — рассуждал я сам с собой. — Годы учебы подрывают здоровье. А дальше что? Дальше — какое-нибудь глухое село, школа, классные комнаты. Все это может быть интересно и увлекательно. Но только ли для этого я пришел в этот мир?» Одиночество давило меня к земле. Мне хотелось яснее видеть конечную цель моей жизни, хотелось быть счастливым сегодня.

Я принадлежал к категории молодых советских людей, считавших религию, по выражению Ленина, «опиумом для народа». Мне казалось все просто: кто поможет, если сам не сделаешь, не достигнешь, не добьешься? Но бывают в жизни моменты, когда душа вдруг почувствует себя смертельно одинокой, несчастной и никому не нужной. С кем поделиться своими переживаниями, мыслями? К кому пойдешь, кому расскажешь? Кто близкий, кто родной, если нет ни отца, ни матери, если каждый живет своей жизнью, если у каждого на земле есть свои слезы, свое горе. И тогда думаешь: стоит ли бороться, достигать, когда жизнь так коротка, когда не знаешь, что будет завтра?

Вскоре заскрипели двери сеней. Поодиночке, чтобы быть незамеченными, посетители Прасковьи Ивановны начали расходиться... А минуту спустя хозяйка постучала в мою дверь.

— Что с тобой, дружок? — спросила она участливо, по-матерински нежно, ласково вглядываясь в мое лицо. — Не заболел ли?

— Немножко... Простудился... — ответил я.

— Это не беда. У меня потогонная травка есть. Сразу как рукой снимет. А мы, вот, Николаша, Богу молились...

— несколько возбужденно сказала Прасковья Ивановна, меня тему разговора. — Что ты на это скажешь? А?

Хозяйка, конечно, хорошо знала, что домашние богослужения противозаконны, что это может принести ей суровое наказание. Но на ее порозовевшем лице я не увидел страха, наоборот, оно светилось какой-то необычайной радостью.

Я молчал, не находя ответа.

— Я за тебя молилась, чтобы Бог милостивый помог тебе в жизни, в учении... Ведь и тебе тяжело живется. Скоро, говоришь, зимние зачеты начнутся. Да все эти студенты — мученики. Сколько я их видела, все они страдальцы. Как же за вас не молиться Богу? А Он знает, кому помогать...

— Спасибо, Прасковья Ивановна. Я как раз в этом нуждаюсь. Приболел вот немного. От отца ничего не слышно, а до стипендии еще неделя... Так что есть о чем Бога просить, — ответил я.

— А разве ты веришь в Бога? Ведь вас теперь учат, что Бога нет, а вместо Бога нашли какую-то материю, небось, и сами не знают. В магазинах никакой материи не найдешь, а вам, то и знай, про нее говорят.

— Может, Бог и есть, но я Его не знаю. Никто ведь Бога не видел...

— Понимаю тебя, мое дитя, — сказала хозяйка, по-прежнему стоя у двери. — Верить в Бога и видеть Его — это не одно и то же. Видеть нам Бога на земле не дано, а верить — дано. Разве можно смертному и грешному видеть святое? Потому и сказано: «Блаженны не видевшие, а поверившие».

С этими словами Прасковья Ивановна вышла, но вскоре снова вернулась, держа в руке старую, порыжевшую от времени книгу и бронзовую иконку.

— Вот тебе образок Божьей Матери, Заступницы. О всех она печется, всем помогает... А вот здесь (она раскрыла книгу) есть молитва. «Достойно есть» зовется она. Ты послушай меня, старую, как мать, послушай. Не плохое говорю — хорошее. Перепиши эту молитовку и заучи ее хорошенько...

Внимательно взглядываясь в мои глаза, как бы читая в них, она добавила:

— Мой совет такой: если хочешь от Бога милость получить — два раза, утром и вечером, молись перед иконкой, осеняя себя крестом. Да двери на крючок не забудь закрыть. А «Отче наш» ты знаешь?

Я утвердительно кивнул головой и в доказательство прочел молитву почти без затруднения:

— ...С детства знаю, мать когда-то учила.

— Вот хорошо, — продолжала хозяйка, воодушевляясь. — И «Отче наш» повторяй. Сам Христос учил учеников этой молитве. И апостолы так молились.

Прасковья Ивановна уселась на стуле и, немного помолчав, как бы собираясь с мыслями, продолжала:

— Только смотри, сын, не многим про то сказывай. Сам знаешь, какой народ нынче пошел. Родному брату не верь, не то что другу.

И, как бы в подтверждение, добавила:

— Так и в святых книгах написано: «Восстанет народ на народ, и сын будет против отца». Так вот оно теперь и есть.

— Но как же вы, Прасковья Ивановна, мне доверяете? — спросил я, немало тому удивляясь.

— Я знаю, ты не доносчик. Да я ведь не враг власти. У самой ведь сын партийный, в Москве служит. А в Бога верить все равно буду, хоть убей. И не одна я такая. Вера, сынок, большое дело. Твоя ведь мама также верила?

— О, да, — отвечал я. — Она верила. Всем сердцем верила. Только что из того? Всю жизнь, до советской власти, служанкой прожила, расписаться не умела. Верила, верила, а жизни так и не видела. От истощения умерла. Видно, Бог и от верующих отказался...

— Неправда это, — настаивала на своем Прасковья Ивановна. — Бог от людей не отказался, люди от Него отказались. Оттого и беда на земле. Хорошего мало, коль хлеба не хватает. А раньше все-таки этого у нас не бывало. Говорят, не только у нас, но даже за границей с голоду умирают. Неисповедимы пути Господни. Отчего так бывает, не приложу ума. Жаль мне твоей мамы. Вчера читала твои стихи и слезу не удержала. Сама покатила непрошенная. Видно, парень, доброе у тебя сердце. Таких Заступница слышит. Молись.

На морщинистое лицо Прасковьи Ивановны упало несколько бриллиантовых слезинок, но она, будто их не замечая, ушла к себе, в «келью». Видно, тяжело было у нее на сердце.

Медная иконка, величиной в спичечную коробку, покрытая синим налетом окиси, изображала Деву Марию с Младенцем на груди. Я спрятал ее в письменный стол, между конспектами по истории. Записал молитву «Достойно есть, яко во истину...».

Смысл церковнославянских изречений был мне мало понятным и далеким от моих переживаний. Но, как большинство людей, склонный скорее к суеверию, нежели к вере, я смотрел на все это с большим сомнением.

А тем не менее Прасковье Ивановне показалось, что я интересуюсь вопросами веры, и она усердно старалась приобщить меня к вере отцов, к почитанию святых, к посту, к молитве. Я слушал ее часами внимательно и участливо, особенно в выходные дни, когда с утра до вечера из-за безденежья сидел дома.

— Ничего, Николаша, не унывай. Бог тебя не оставит. Только верь. Падут возле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится, — что-то в этом роде повторяла она часто.

Через несколько лет, будучи на фронте, я вспоминал мою хозяйку и ее советы. Она имела если не пророческий дар, то по крайней мере удивительное чутье предвидения. Ее по-детски наивные советы были далеко не глупыми.

40

Ко времени знакомства с Прасковьей Ивановной я интересовался религиозным вопросом в той мере, в какой он был связан с историей России. Историю я любил так же, как и литературу. Но диалектический материализм, вопросы ленинизма и политэкономии (эти обязательные для всех предметы) я всегда забрасывал до экзаменов. Советская историография имела определенную целеустановку, материалистическую направленность, и к высказываниям таких историков, как Платонов и Костомарова, подходила довольно осторожно. Даже Соловьев и Ключевский на семинарах подвергались критике в оценке некоторых исторических событий.

Во всем надо было придерживаться строгого партийного взгляда. Поэтому многое, особенно в вопросе религии, оставалось скрытым, неясным, сомнительным.

Может быть, это и располагало меня много говорить с Прасковьей Ивановной о старине. Ее мать хорошо знала барщину. Бабушка дважды была перепродана известным в нашей округе жестоким помещиком. Эти рассказы вызывали у меня чувство негодования к царям и правителям России, вызывали недоверие к церкви и ее служителям, оправдывающим насилие и рабство.

О себе хозяйка рассказывала мало, будто и не было у нее личной жизни. Бог, церковь, молитва о грешниках, о России — это были ее излюбленные темы. Вместе с теплыми, утешительными словами она ежедневно приносила мне тарелку горячих вкусных щей, присаживалась у моего стола и начинала свои рассказы о праведных старцах, об их чудесах, об обновлении икон, о явлении умерших душ и о многом другом.

«Свежо предание, да верится с трудом», — говорил я иногда сам себе, слушая словоохотливую рассказчицу. Но как только я начал говорить о недостойной жизни священнического чина, приводя общеизвестные факты, Прасковья Ивановна искала другую тему или уходила в свою комнату. Видно, и она видела в когда-то многочисленном классе церковнослужителей большие места, которыми умело пользовались атеисты для разрушения веры. Но на другой день, как только я приходил с занятий, хозяйка снова появлялась в моей комнатухе с какой-нибудь просьбой, а после, угощая скромным обедом, начинала все тот же разговор о безупречной

жизни Серафима Саровского, Сергея Радонежского, о монастырской жизни, о других, достойных хвалы, подвижниках православия.

— Каким же образом, — спросил я ее однажды, — люди, уходившие в пустыни, отрицая материальные ценности, основывали монастыри, а вслед за этим сами становились крупными собственниками, обладателями колоссальных средств, лесов, пашен, рек и даже деревень?

— На моем веку этого не было, — оправдывалась Прасковья Ивановна... Но потом, снова набираясь сил, переходила в наступление: — Дитя мое, много знать — скоро состариться. Зачем оно тебе? Много знаем, а за хлебом в очередь стоим. О-о-х, — вздыхала она. — Нет прежней Руси. За грехи наши тяжкие наказал нас Господь. Вот и не слышно колокольного звона, что когда-то радовал нас по праздникам. Бывало, в Карховском соборе звонят, а у нас слышно... Почитай, десять верст будет. Братия к заутрене звала. А теперь и душу усопшего помянуть негде. И людей хоронят, как собак...

Эти рассказы увлекали меня не на шутку. Жалобы Прасковьи Ивановны мне казались основательными. Верующая душа была в загоне. И я, не замечая того, становился на ее сторону.

— Мне с тобою поговорить, как чаю попить. Люблю я и то и другое, — говорила, уходя ко сну, Прасковья Ивановна. — С тобою мне веселей, родной ты мне стал. Вот посижу у тебя и душу отведу. На сердце легче...

Я понимал ее хорошо. День за днем она сидела в доме, ни с кем не разговаривая, разве только с кошкой да коро-

вой, которая, к слову сказать, была почти единственным источником ее существования. Сын помогал мало, писал редко.

Хозяйка не сделала меня религиозным человеком, но вызвала во мне интерес к духовным вопросам, зародила сомнение, что душа человека смертна, что нет загробной жизни. «Кто-то есть выше человека», — думал я.

Пахучей весной, когда на улицах высыхала грязь, цвели ветвистые клены, когда солнце, пригревая землю, было ласковым и веселым, я уходил на целый день в читальный зал библиотеки — готовиться к экзаменам. Домой приходил усталый, голодный, как всегда, нервный. Прасковья Ивановна, зная это, не беспокоила меня своими рассказами, но перед экзаменами научила меня еще одной молитве: «Моли Бога о мне, святой угодниче Божий Николае, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей».

Однажды, знакомясь с первоисточником периода собирания Руси, я был глубоко потрясен жизнеописанием царя Ивана Грозного. Это был набожный царь. Но он совершал казни и заносил имена казненных в поминальные книги — синодики. Потом эти имена он рассылал по монастырям. Эти книги сохранились до наших дней как важные исторические памятники.

Один из таких списков-синодиков был приведен в хрестоматии первоисточников. Число жертв царя доходило иногда до четырех тысяч. Братия поминала их за особые поминальные вклады, что и было одним из важнейших источников обогащения монастырей, да и всей церкви.

Нарушая строгое правило, я тайно вынес этот сборник из библиотеки, чтобы убедить Прасковью Ивановну, что религия, ее сухая форма, действительно «опиум для народа». Как это можно было убить человека, а потом молить Бога о спасении его души? Эти черные страницы родной истории помогли мне впоследствии уяснить разницу между религией и верой в живого Бога, между обрядовой и сердечной молитвами.

И я читал Прасковье Ивановне об Александровском монастыре, возле Москвы, где Иван Грозный избрал братию — триста опричников, а князя Афанасия Вяземского облек в сан келаря. Братию он одел в монастырские скуфейки и черные рясы, а сам лазил на колокольню звонить к заутрене, потом читал и пел на клиросе и долго, коленопреклоненно молился.

Прасковья Ивановна слушала меня кротко и смиренно, иногда со слезами, и всегда находила доводы, оправдывавшие правоверных царей. Но меня эти доводы не убеждали. Ведь даже Ключевский, дореволюционный историк, написал о царе так: «Когда после обедни за трапезой веселая братия опивалась и объедалась, царь за аналоем читал поучения отцов церкви о посте и воздержании, потом обедал сам, после обеда любил говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытках заподозренных» (Том 2, с. 188).

Подобные факты отталкивали меня от веры, от религии, но где-то глубоко в душе я осознавал, что есть Хозяин Вселенной, есть невидимый Творец, а Его, как нужно, человек не знает. «Почему же Он скрывает Себя от людей?» — часто думал я и не находил ответа.

Тогда я не знал, что Христос — живое Слово Бога, «полное благодати и истины». Я не знал, что Евангелие — единственное Божье откровение, данное людям для спасения души, как светильник, сияющий в темном месте (2 Пет. 1:19).

С тех пор прошло много лет. Многое, тогда непонятное и неизвестное, открылось мне через Евангелие. Но память о Прасковье Ивановне осталась в моей душе неувыдаемой, чистой и святой, как о большом, русском, любящем сердце. Вера, которая делает человека счастливым, изменяет его характер и научает любить ближнего, такая вера — правильная вера. Эту веру я нашел спустя восемь лет.

Если бы мне снова довелось быть в моем городе, я отыскал бы маленький домик в глубине сада и калитку, на которой когда-то значилась надпись: «Улица Воровского, дом № 47а». И если бы я не нашел там близкую сердцу Прасковью Ивановну, я пошел бы на кладбище, чтобы на ее могиле возложить венок — знак доброй памяти о ее чистой любвеобильной душе.



Божий экзамен

Воскресенье, 22 июня 1941 года, был теплый, погожий день. После небольшого дождя, выпавшего ночью, к утру небо расчистилось, заголубело, воздух был свеж и ароматен, ласково грело солнце. Поднимая гвалт, стаями летали воробьи. Казалось, вся земля радовалась наступившему лету.

В этот день я был в деревне, в семи верстах от города Н., у моих друзей, готовился к последнему государственному экзамену по Новой истории. На лугу, у небольшой, но быстрой и неугомонной речушки, было мое излюбленное место для занятий. Я потел над толстыми потрепанными конспектами, над хронологическими таблицами, над выписками основоположников марксизма-ленинизма. Это была скучная, неувлекательная работа, но необходимая, чтобы сдать экзамен и получить диплом — путевку в жизнь.

К полудню погода заметно изменилась. На горизонте появилось несколько облачков, вскоре они прикрыли солнце, и я начал собираться домой, к обеду. Вдруг из-за кустов выбежал хозяйский мальчик лет десяти:

— Дядя Коля, война началась! Война!

На чистом и свежем личике Феди (так звали мальчика) застыл испуг. Он оглядывался по сторонам, будто где-то рядом, за холмами, прятался враг, готовый напасть в любую минуту.

— Немцы идут, бросают бомбы... — продолжал Федя. — Молотов сказал...

— А ты где Молотова видел? — спросил я.

— Не видел, а слышал по радио в клубе. А людей там... все село. Пойди посмотри. Скорей...

Тяжелые предчувствия наполнили мое сердце, и я побежал в село через огороды. У сельсовета толпилось множество народа.

— Вот они, договора эти... — выкрикивал подпивший пожилой колхозник. — Объегорил нас немец. Теперь попробуй останови его, когда он, елки-палки, уже до Минска стругнул. Того и гляди, завтра здесь будет...

— Ты, старина, помалкивай, — крикнул на колхозника уполномоченный из района.

В клубной комнате, утопавшей в табачном дыму, стоял радиоприемник. Но войти туда было невозможно, народ теснился в коридоре, стоял под окнами. Сквозь гомон множества людей слышалось захлебывающееся хрипение репродуктора. Передавались марши и патриотические песни:

Но сурово брови мы насушим,
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.

Я решил поспешить в город, узнать точнее, что произошло. Зашел к моим друзьям проститься. Хозяйка плакала: старшему сыну Семену посыльный принес повестку. Приказал немедленно явиться в райвоенкомат с продуктами на три дня и парой белья.

— Выпьем, друг, на прощанье, — сказал Семен. — Может, последний раз. Предчувствия у меня плохие...

Его отец, лысый, рыжебородый старик с одним глазом, известный на всю округу рыбак, после второй рюмки развязал язык:

— Скажу вам, хлопцы, по секрету: жаль мне вас... А что война началась — ничуть не жалею. Может быть, перетурбация будет. Иначе наше дело гиблое... Нагрели мы много. Теперь, поди, расплата приходит... Немец, видно, злой...

Старик смотрел в тарелку, наполненную свежими огурцами и луком, и о чем-то думал. Из его глаз текла слеза и пряталась в густой бороде.

— Посмотрим, чья возьмет, кто выдержит? — начал он снова. — А пострадать народу придется... Во искупление грехов...

— Значит, война — вроде Божьего наказания? — заметил я.

— Вот-вот, так оно и есть, сынок. В точности так.

Я тепло простился с Семеном. Старика обещал проведать в ближайшие дни. У меня был старенький велосипед, и я отправился в путь.

У райвоенкомата, вдоль улицы, уже стояли подводы. Мобилизация шла полным ходом. У ворот толпились люди с испуганными лицами, с котомками за плечами, и все говорили об одном: немец бомбил многие города и за один день прошел более ста верст. Кое-где голосили женщины. В двух-трех местах возле парка завывали гармошки, пьяные голоса выводили песню:

Последний, нынешний дене... чек

Гуляю с вами я, друзья...

Рядом, сидя на возу, рябоватая молодка, подвыпив, кричала:

— Окаянные. Пожить не дали... На медовом месяце забирают...

Во дворе военкомата строились группы новобранцев. Старшие выкрикивали фамилии, считали, отправляли через весь город на вокзал.

Продажа спиртных напитков была строго запрещена. Но люди, словно очумелые, выискивали спекулянтов, набрасывались на водку, чтобы хоть на время забыть горе разлуки.

На базарной площади я встретил земляка, тракториста МТС. Он обнял меня, облобызал и, прижавшись мокрой от слез щекой, говорил:

— И ты, братуха, никуда не уйдешь. Загребут. Каша заварилась не на шутку. А за что идти воевать, пес их подери?... Встретимся ли? Может, и нет...

А рядом толпа людей окружила веселого плясуна, колхозного парня. Шлепая разбитыми лаптями по мостовой (новобранцы одевались как можно хуже), он ухарски хлопал в ладони и под рев гармоники бросал слова:

И пить будем,
И гулять будем,
А смерть придет —
Помирать будем.

На следующий день в клубе института состоялось экстренное студенческое собрание. Выступали активисты, клеймили немецких захватчиков, призывали защищать родину, не щадя жизни. Местный поэт

Павел Грибачев успел написать хорошие патриотические стихи.

Сразу же после собрания начали формироваться бригады добровольцев. Записался и я. В райвоенкомате после поверхностной медицинской комиссии сказали:

— Направляетесь в Воронежскую военную школу связи. Будете командиром.

29 июня я был в Воронеже, на Студенческой улице, в главном управлении училища. Осмотрев мои документы, дежурный улыбнулся:

— Студент? Тут тебя промнут как следует. Пыль выбьют...

После вольной студенческой жизни училище с железной дисциплиной казалось мне тюрьмой. Каждая минута с 6 часов утра до 10 часов вечера была на строгом учете. Занятия проходили по ускоренной программе, наспех, с расчетом, чтобы к весне нас отправить на фронт. А с фронта шли печальные вести: немцы подходили к Москве.

В сентябре немцы бомбили Воронеж, прямым попаданием взорвали авиационный завод. Муштра, сорокакилометровые походы на рытье окопов, тактические занятия и частые ночные тревоги доводили нас до изнеможения.

Однажды наша учебная рота была в наряде. Мне довелось патрулировать в ложине, густо поросшей ивняком, вблизи военного городка. Командование опасалось высадки десанта и каждую ночь выставляло дозоры и патрули. Была холодная октябрьская ночь. С полей дул сырой ветер. Непроглядная тьма слепила глаза.

Со стороны города не было видно ни одного огонька: соблюдалось строгое затемнение. Только в Чижовке, пригороде Воронежа, надоедливо лаяли собаки: там было несколько прожекторных установок, временами пронизывающих небо густыми косыми лучами. Время тянулось непривычно медленно, грустно было на сердце, порою мною овладевал страх, хотя я был вооружен и карабином, и гранатой.

О чем только я не передумал в эти ночные смены, оставаясь сам с собой! Но больше думал о себе самом, о моей безрадостной судьбе. Припоминалась мать, наставления.

«А почему бы мне не помолиться?» — пришла мне в голову однажды мысль. И я начинал молиться, несколько раз повторяя «Отче наш». Иногда молитву кончал своими словами:

«А еще, Боже, прошу, не допусти мне убить человека...»

Этот вопрос больше всего меня беспокоил. Я не мог себе представить, как это можно закладывать обойму в винтовку и стрелять в живых людей?

В состоянии моей души, в настроении моя молитва не произвела никаких перемен. И все-таки каждый раз, вспоминая покойную мать, я решал — держаться ближе к Богу, потому что «Он силен погубить и помиловать». И я могу сегодня сказать, что на мою беспомощную, духовно бедную молитву Бог ответил. Как ни странно, но, принимая непосредственное участие в нескольких боях, я не сделал ни одного выстрела. (Спустя годы, после многих лишений и переживаний, Бог посетил меня

и щедро благословил мою жизнь. Нужно было изрядно вкусить горького, чтобы я мог ценить сладкое.)

В начале ноября 1941 года училище поспешно эвакуировали в Самарканд. В пути, после бомбежки железной дороги у Борисоглебска, дежурных по вагонам вызвал батальонный комиссар. У раскрытых дверей штабного вагона-товарняка в новой (не по росту сшитой) униформе стоял бывший директор нашего института, кандидат исторических наук, доцент Алферьев.

— Товарищ батальонный комиссар, я вас узнал, — сказал я после официального доклада.

— И я вас, милоч, узнаю. Как же? За моим красным столом все побывали, стипендию-то и вы просили... А теперь, видишь, в одних рядах.

После беседы о водоснабжении и самообороне эшелона Алферьев пригласил меня в свой отгороженный в вагоне «кабинет» и привычно по-деловому начал:

— Видишь, в жизни все получается немножко иначе. Теперь перед нами экзамен: жить или не жить. Да, да... Жить или не жить. Учить диалектику — одно, а отводить себе жизнь — другое. Это не всем удастся. Многим придется сложить головы. Учись прилежно, на фронте пригодится...

Прощаясь, Алферьев приложил руку к пилотке, которая неуклюже держалась на его выбритой большой «ученой» голове.

* * *

Правду сказал Алферьев. Война для нас была строгим экзаменом на право жить или не жить. И миллионы

его не выдержали. Война — большое несчастье. Но не это ли теперь должно учить нас дорожить миром, жить в мире, стремиться к нему?

Война подвергла проверке мои взгляды на окружающее, она отсеяла ненужное, ветхое, неустоявшееся, вскрыла мои многие ошибки, помогла познать истинную конечную цель жизни. Слава Богу за все! Так делает добрый отец с непослушными детьми: наказывает их ради их же блага.

Из студенческой аудитории я вынес некоторые поверхностные знания, но только не знание о себе самом, не о том, как нужно жить разумно, как владеть собою, как сдерживать себя от греховных наклонностей.

Первая папироска, помню, казалась мне очень противной, а все-таки к 18 годам я научился курить. Первая рюмка водки огнем жгла мое горло, отравляла желудок, вызывала рвоту и боль в голове, а все-таки я научился пить и пить очень много. Мой первый рубль, заработанный тяжелым трудом на разгрузке вагонов, я отнес в драматический театр. В последний год учебы я много раз участвовал в шумных попойках, оставаясь потом на несколько дней без куска хлеба.

Суровая дисциплина училища связала меня по рукам и ногам, но не надолго. В начале 1942 года я был досрочно выпущен в чине лейтенанта и отправлен в Ташкент, где формировалась 69-я дивизия для фронта.

Первая полученная зарплата пробудила во мне греховные инстинкты. Переодевшись в гражданский костюм (ввиду признаков эпидемии военным не разрешалось заходить в общественные места), я зашел

в ресторан и напился там до потери сознания, а после угодил в милицию.

В марте 1942 года наша дивизия была отправлена на фронт по «зеленой улице». Эшелонам дивизии давалась первая линия. Высадились в Туле. Боевая романтика рассеялась, как дым, когда в разбитом рабочем поселке Косая Гора, в окрестностях Тулы, под снегами я увидел сотни небуранных замерзших трупов.

Подвалы полуразрушенных домов были переполнены ранеными. Они погибли, истекая кровью, потому что им никто не оказал медицинской помощи. Это были защитники Тулы, рабочие заводов, ополченцы, мобилизованные женщины и даже дети в простой рабочей одежде. Неописуемый ужас охватил каждого, кто заглядывал в погреба с замерзшими обезображенными телами. Немцы давно отступили, а трупы лежали все еще небуранными. Их некому было убирать. Из-под снегов виднелись разбитые немецкие машины, брошенные походные кухни, взорванные танки.

Однажды в предвесенний солнечный день я вышел со связистами на тактические занятия к кирпичному заводу, в 5–6 километрах от города. Мы, необстрелянные новички, с любопытством рассматривали немецкие трофеи. Невдалеке раздался страшный взрыв, за ним второй и третий. Взрывались мины. Оказалось, мы вышли на занятия на необозначенное противотанковое минное поле. Несколько красноармейцев соседнего подразделения взлетели на воздух. Их разорвало на куски, которые невозможно было собрать. Здесь был убит один

из моих лучших задушевных друзей, еврей, командир 4-й роты, лейтенант Гитлин. А еще так недавно, всего несколько часов тому назад, он весело напевал патристическую песенку и балагурил:

— Пойте, чтобы всем лешим тошно стало! Что носы повесили? Все равно весной в Берлине будем!

Ночью я не мог спать. Перед глазами стоял образ Гитлина. Первый раз я увидел, что жизнь человеческая — недолговечнее травы. На глазах цветет и вянет. Завтра это может быть со мной, с каждым из нас. И думалось: а дальше что? Вдруг обнаружится, что есть загробная жизнь, есть наказание за грехи?

Я вытащил из чемодана иконку Прасковьи Ивановны, моей квартирной хозяйки, и как талисман положил ее в карман гимнастерки, где лежали военное удостоверение и комсомольский билет.

А вскоре в тульской бане я увидел сослуживца, члена партии, тщательно прятавшего нательный крестик.

— А это что у вас такое? — спросил я его в упор.

— Да, знаете, память матери. Дорога она мне... А впрочем, говоря между нами, «пока гром не грянет, мужик не перекрестится...»

На пути в штаб он говорил мне на ухо:

— Верить или не верить в Бога — личное право человека. Я думаю, — оправдывался сослуживец, — здесь принадлежность к партии ни при чем. Это право нельзя отнять. Вот прикажи мне не верить, если, допустим, я верю?.. А? Что скажешь?

— Это правда, — заметил я. — Ведь я тоже верю. Тут, брат, война. У каждого своя философия.

Устои марксизма, на которых я строил свое мировоззрение, заметно поколебались, прояснялось сознание. А от этого на душе становилось еще тяжелее. Ведь, отвергая Бога, мы, должно быть, делали большую ошибку. Появилась мысль, которую я боялся где-либо высказывать, что война — наказание свыше за наше неверие, за гонение церкви, за богоотступничество.



День на передовой

Этот день 5 мая 1942 года начался рано. На рассвете, когда все, кроме патрулей, спали, когда рошу наполняло щебетание птиц, внезапно с ревом и свистом на пике вышел вражеский самолет и сбросил две бомбы. Они взорвались недалеко от нашей стоянки, не причинив вреда. Спать, однако, уже никому не пришлось.

— Подъем! — возвестил коновод, проснувшись первым. Он спал на двуколке, нагруженной средствами связи. — Гости прилетели! Принимай гостинцы! — шутил он.

Бойцы вылезали из землянок неохотно. Некоторые тянулись к кухне за чаем, другие ухитрились умыть-ся из фляги, а у только что разложенного костра уже сушились портянки.

Наш 120-й полк расположился во втором эшелоне, в десяти километрах от передовой, на южной стороне разбитой станции Барятинской, на Смоленщине. Недалеко от нас стояла танковая рота на отдыхе. В последнем бою она потеряла половину своего состава и почти всю технику и теперь ждала пополнения. Танкисты в поисках землянков пришли к нам. Молодой кудреватый сержант со свежим шрамом на бороде, что придавало его лицу комическое выражение, отечески наставлял:

— Вы, я вижу, братва необстрелянная. Так вот вам совет: главное — прячь голову. В ней вся жизнь. Нет головы — нет жизни. Все остальное чепуха на постном масле. Залечить можно. Меня вот по бороде осколком

прописало по глупости. А два раза был в ноги ранен. Три месяца ремонтировался, теперь опять на фронт...

Он щедро угощал нас фронтовыми папиросами и спрашивал:

— Землячков нету?.. Псковских?

— Да мы все земляки, — отозвался голос. — Всем дорога в одну землю-матушку...

Солнце обещало погожий день. От цветущих садов деревни Шершнево несло запахом цветов и сырой земли. Там готовились к обороне, рыли окопы.

Я прошел на узел связи. Дежурный доложил:

— Все в порядке!

Но тут же запищал зуммер. Вызывал начштаба:

— В 10:00 уезжаем на рекогносцировку. Будьте готовы!

На опушке дубовой рощи, по выходе к главной дороге, ведущей к передовой, нас встретил командир полка майор Чигвинцев, худенький, небольшого роста, с узкой, словно побывавшей в тисках, головой. Майор был кадровик. Он изложил нам обстановку. Согласно приказу командира 69-й дивизии, наш полк должен был сменить разбитый сибирский полк и назавтра к вечеру занять оборону.

В двух-трех километрах лежала деревня Яковлевка, занятая немцами. Мы вышли к артиллерийскому наблюдательному пункту. Встретил нас командир дивизиона радостно:

— Заходите, давно вас ожидали! Пора и вам повоевать... А нам отдохнуть, обмыться.

Действительно, лейтенант, как и пехотинцы, бродившие рядом по окопам, выглядел усталым. Небри-

тый, с потухшими глазами, испачканный землей, он поминутно заглядывал в смотровую щель, отдавая приказания телефонисту-наблюдателю.

Лейтенант умел рассказывать и рассказывал охотно, знакомил нас с фронтовой жизнью. Он пробыл на передовой пять месяцев беспрерывно, три раза получал пополнение, молодых узбеков, ничего не понимающих в артиллерии. Трагические случаи он умел облекать в юмористическую форму.

— Зимой мы такое устроили, — говорил он воодушевляясь. — Запрягли, значит, клячу, потеряли её под хвостом перцем, положили на сани пару мин, привязали к ним гранату с часовым механизмом и пустили этот транспорт прямо в Яковлевку, к немцам. Лошаденка, конечно, была никудышняя, но хватила так, что через пару минут оказалась вон у тех сараев... Видите?

В бинокль деревню можно было видеть как на ладони.

— И, представьте, два фрица выскочили, как из-под земли, и давай гоняться за клячей. Схватили они её, а взрыва нет. А мы, значит, наблюдаем, ждем, сердца замирают... Ну, потом, братцы, так рвануло, что ни от клячи, ни от фрицев ничего не осталось. Вот было смеху...

Я не мог понять, как можно было смеяться над коварной смертью людей и животного. Фронтовая обстановка делала сердца людей грубыми, железными, безразличными к смерти.

— Ну и дал нам немец перцу после этого, — заканчивал рассказ лейтенант. — Весь день сажал мины, как картошку.

Пока мы ожидали начальника штаба соседнего полка, артиллерист знакомил нас с обстановкой.

— А это что там, на огородах? — всматриваясь в бинокль, спросил кто-то из нас. — Немцы гусей разводят, что ли?

— Где там у немцев гуси? Это наши лыжники в маскировочных халатах. Там весь сибирский батальон с февраля лежит. Подпустили близко, а потом скосили. И вот нарочно не убирают. С зимы лежат. Оставили для устрашения. Смотрите, мол, сколько вашего брата полегло... — рассказывал лейтенант.

Чигвинцев изложил приказ, мы повторили задачи и, соблюдая правила маскировки, начали по одному вылезать из траншеи. За мной шел адъютант Чигвинцева, лейтенант Цин. Чтобы сократить путь, спустились в небольшую долину, не зная, что она простреливается немцами. Внезапно Цин вскрикнул и присел.

— О-о-ох! — простонал он рядом.

Шальная пуля ударила ему в ногу и, обессилев, осталась в кости. Он пытался встать, но не мог. Нога отказывалась повиноваться. Я оторвал кусок рубашки, чтобы задержать кровь. Подбежали другие и перенесли его в блиндаж. В санбат он попал только через несколько часов: шел обстрел. А в санбате двадцатилетнему лейтенанту пришлось ампутировать ногу. Красивый статный юноша, с голубыми девичьими глазами остался навсегда калекой.

Каждый серьезно раненый считал себя счастливым. Его отправляли в глубокий тыл, и он знал, что на фронт ему долго или совсем не возвращаться.

Мы шли в свои подразделения через густые, два года некошенные луга, обходя небольшие болотца. На каждом шагу виднелись следы войны: воронки от снарядов, стреляные гильзы, пустые консервные банки, ящики, а кое-где и холмики погребенных воинов. Не хотелось верить, что это был май во всей его красе. Мы вошли в молодой хвойный лес. Здесь стояла батальонная походная кухня. Солдаты, позванивая котелками, пристраивались в очередь. Повар, как обычно все повара, шутник и балагур, покрикивал на солдат:

— Не толпиться! Во всем нужна сноровка, уменье, маскировка, иначе вам удачи не видать!

Повар не закончил своей песни, как раздался шум, словно над головами пролетала огромная стая перепелов. Несколько мин взорвались невдалеке почти одновременно. Мы разбежались в стороны. Я вскочил в первое попавшееся мне укрытие — ветхий блиндажик с тоненьким накатом. Он вместил немногих, кто успел в него вскочить. А в это время шквал минометного огня накрывал район кухни.

— Это перебежчики... Они донесли, где у нас кухня, когда обед выдают! — рычал голос в темноте.

Но мины садились одна за другой совсем рядом, и все умолкли. Каждый думал о своей судьбе. Волны горячего воздуха врываются в блиндаж, непрерывно осыпалась земля. Сквозь гул взрывающихся мин и свист осколков уже слышались душераздирающие крики раненых, но никто не пытался выйти из блиндажа. Одна мина ударила в столик, стоявший у блиндажа, другая — в верхушку дерева. Осколки сыпались градом, барабаны по крыше.

Третья мина упала совсем рядом в яму, наполненную водой, и не взорвалась.

Огнево́й налет так же внезапно прекратился, как и начался. За две минуты немцы выпустили не меньше сотни мин крупного калибра. Несколько человек было убито и ранено. Мы недосчитались командира разведроты. Он был смертельно ранен. Первый раз в жизни я видел оторванные части тела и густую, запекшуюся кровь человеческую на голубых и желтых лесных цветах, на траве, на стежках, ведущих к главной дороге. В этот день я впервые узнал, что такое ужас войны.

Люди осторожно выходили из укрытий. Роща была неузнаваемой. Синий дым застилал небольшой овражек, где стояла кухня. Запах гари и сырой взрытой земли наполнял воздух.

62 | Майор Чигвинцев уехал в полк раньше, избежав обстрела. А мы с начальником штаба выбрались на большую дорогу и ускорили шаг. В пути молчали. Каждый знал, что завтра мы вступим в полосу жизни, полную опасностей, и каждый день придется хоронить товарищей.

А в это время в непоколебимой синеве плавало послеобеденное солнце. Оно хорошо нагрело землю и теперь спешило укрыться за холмами, где стоял наш соседний 303-й полк.

Так прошел мой первый день на передовой.

Ад на земле

В ночь на 21 июня 1942 года наш полк вступил в жаркий бой с немцами. На исходном рубеже перед началом наступления старшины раздавали спирт, а в это время шла артиллерийская подготовка. Ровно час непрерывно гудела земля, ровно час продолжался обстрел немецких позиций. Он закончился одним выстрелом из многоствольного миномета «Катюша». Роты перешли реку Ужать (восточнее Рославля) и с криками «Ура! За Родину!» пошли в наступление. Казалось, немцы были выбиты артиллерией, но как только бойцы поднялись в атаку, немцы, словно ожившие из мертвых, открыли по атакующим огонь из всех видов оружия.

Подавить огневые точки противника не удалось: не хватало снарядов. Командир дивизии разрешил выпустить еще по три снаряда на пушку, но это не изменило обстановку. Немцы в свою очередь открыли такой обстрел, что в несколько минут они парализовали связь и вывели из строя все наши поддерживающие средства. Радиостанция, которая держала связь с комдивом, была запеленгирована, и на нее обрушились десятки мин.

Когда почти все связисты оказались убитыми или ранеными, я занял место рядового связиста. Под ураганным огнем противника люди падали направо и налево. Раненые (кто только мог) ползли назад, в тыл, стонали, звали санитаров, сыпали проклятия. В одно мгновение мне показалось, что на земле открылся ад, не иначе.

Только под покровом Всевышнего можно было выйти невредимым из этого ада.

В эти страшные, непередаваемые минуты я сознательно обратился к Богу с молитвой: «О Боже! Только Ты можешь меня спасти. Прости меня, грешника... Спаси. Если останусь жив, буду всегда молиться, делать только хорошее, исполнять Твои заповеди...»

Не зная истины Божьей и характера Его любви, я шел на «коммерческую сделку»: «Если спасешь меня, Боже, я буду впредь верить и молиться...»

Из 140 человек, участвовавших в безуспешной атаке, уцелело только 36. Всего же в этом наступлении погибло несколько сот человек. Лучшие друзья, связисты моего подразделения, остались на поле боя.

И я до сих пор не знаю, почему, за что Господь спасал меня от смерти? Ведь моя жизнь, пожалуй, ничем не отличалась от жизни окружающих меня людей. Наоборот, я знал, что многие из погибших стояли на голову выше меня в моральном отношении. Верующий начальник оперативного отдела штаба погиб со своим нательным крестиком.

Припоминаю событие, имевшее место в эту памятную ночь 21 июня. В моем подразделении был связист Василий Стрельцов из Ташкента. Тихий, исключительно честный, благонравный человек, к каждому дружелюбно настроенный, он пользовался всеобщим уважением. И я любил Стрельцова сыновней любовью.

Получив приказ организовать связь в наступлении, я сделал все, чтобы оставить Стрельцова на командном пункте, в менее опасном месте: не хотелось,

чтобы такой человек шел под огонь. Но получилось иначе. Вернувшись после неудачного наступления в блиндаж, я не нашел в нем Стрельцова. Вскоре мне позвонили минометчики:

— Товарищ лейтенант, возле нашей огневой убит ваш связист. Похороните...

Оказалось, что, когда Стрельцов узнал о наших потерях, он добровольно ушел исправлять телефонную линию взаимосвязи с минометчиками. Прямым попаданием мина оторвала ему голову, обезобразила все тело, и только по осколкам телефонного аппарата узнали, что это был связист.

Останки его тела, собранные в чью-то шинель, мы зарыли под обглоданным пулями и осколками деревом.

В вещевой сумке Стрельцова оказалась записная книжка с хорошими стихами, из которых я узнал, что Стрельцов был одаренный поэт-самоучка, глубоко верующий человек. Помню его запись: «Мне все равно, когда умереть: в понедельник или вторник. Чем скорее — тем лучше, ибо мое место у Господа, на небесах...»

И я думал: почему погиб Стрельцов, а не я? Ведь он много лучше меня. Верил в Бога, имел жену, дочь. А я один. Погиб — и тем все кончилось. Не потому ли, что я не был готов предстать перед Всевышним?

В такие моменты в душе загоралась любовь к милующему Богу, появлялось желание жить святой, чистой жизнью. Но как это осуществить?

Каждый раз, когда хоронили друзей, опуская их в неглубоко вырытые ямы, я проникался чувством

бренности нашей жизни, желанием посвятить себя борьбе с человекоубийством.

Тяжело было писать письма семьям убитых. А по долгу службы это нужно было. Мой дневник разпухал от множества стихов, проникнутых религиозным содержанием. Иногда я читал их друзьям. Слушали охотно и внимательно. Не помню случая, чтобы кто-либо относился к ним скептически. Этого не было, хотя большинство моих слушателей были комсомольцы и партийные люди.

Другое дело теперь, когда отбушевала война, когда люди снова окунулись с головой в земное. Стихи о Боге, святой любви Христа считаются отсталостью, мистикой, уродством.

Жизнь моя, однако, продолжала хромать на оба колена. В тихие минуты, когда одолевала бессонница, я прислушивался к голосу совести, старался вникнуть в себя, в свои поступки. В душе моей я всегда различал две противоборствующие силы, два духа, два Николая. Один говорил: «Делай, чего там... Это хорошо, приятно, весело...» А другой напоминал об обещаниях Богу, стыдил меня, жаловался на несправедливость, на мою негодность, упрекал.

Печально, что победу надо мной одерживал дух с плохой славой, мой «черный гость». Он так умело убаюкивал меня, что мне ничего не оставалось, как дать ему руку и делать то, что велел он. Я был его рабом.

19 августа 1942 года было роковым днем в моей жизни. Едва наступил рассвет, полевое охранение 6-й роты,

где я ожидал возвращения нашей разведки, оказалось окруженным немцами. После небольшой перестрелки шесть бойцов, в том числе и я, попали в плен.

Но на этом война для меня еще не окончилась. Немецкий плен был для меня таким же полем боя, как и на фронте, с той лишь разницей, что на фронте боролись за родину, а в плену — за жизнь.

Заявление Сталина, что у него «нет пленных, а есть только предатели», заронило в сердца пленных кровную обиду на власть.

Но об этом писали и пишут другие.



А жить-то, братцы, хочется...

Как мало прожито,
как много пережито!

Надсон

68 **Б**ыла дождливая и небывало холодная осень. Небо, словно больное простудой, несколько дней подряд дождало изморозью. К вечеру оно заволакивалось сплошными темно-серыми тучами. Начинался мелкий, назойливый дождь. Для нас, пленных Александровского лагеря, лучший час дня — вечер, когда мы кончали дорожные работы и возвращались в прижатые к земле деревянные бараки, окруженные колючей проволокой. Конвоиры толкали прикладами и поминутно орали:

— Лос! Лос!

В бараках люди, как черви, ворочались на нарах, толпились у нагретой докрасна бочки, грели воду, обжигались и сквернословили. У дверей всю ночь горела коптилка. В носу щекотала гарь. Тяжелый, спертый воздух лез в горло, болела голова.

Ровно в семь часов вечера полицейский трижды ударял о кусок рельса, часовой у пулемета поднимал на голову капюшон, в лагере прекращалось движение. Пулемет черным глазом ствола смотрел на бараки, похожие на гробы. По нарушителям приказа стреляли без предупреждения. Часовые, как мокрые куры, втягивали головы в плечи и расхаживали на крытых площадках.

Мир для меня не существовал. Была война, грозная, суровая бойня. Был начальник лагеря, Густав Компасс, рыжий немец с редкими, торчащими, как у кота, усами. Были молчаливые, серьезные и всегда недовольные вахманы. Была жестяная банка для супа. Она висела на нарах, у моего изголовья, вместе с серой тряпицей, куском портянки — слабым подобием полотенца.

В девять часов вечера в барак заходил патруль, тщательно осматривал нары, считал людей, грязно ругался, гасил нашу печку. Это был рижский парень, знавший хорошо русский язык. Но с нами он говорил мало и только по-немецки.

— Шлафен! Нихт шпрехен! — бросал он громко и сердито, оставляя барак. В шесть часов утра его привычный голос вещал подъем:

— Ауфштейн!

— Ауфштейн! — словно эхо, раздавалось во всех концах лагеря.

Этот голос острым ножом резал мое сердце и сердца всех трехсот с лишним человек. Люди вскакивали с нар, как ужаленные, бежали, спотыкаясь, к кухне, на ходу протирая глаза, спешили занять очередь, чтобы успеть получить добавок.

Из-за добавочной ложки мутно-жидкого бурячного супа, называемого «баландой», постоянно (к великой потехе администрации лагеря) возникала борьба. К этому времени появлялся оберполицай Мотт, пожилой польский немец. Он ходил по-петушиному, гордо поднимая голову, а с ним его постоянный спутник Шток, переводчик, низенький, обезьянообразный паренек из Закавказья.

Побежденные голодом люди забывали об элементарных принципах человеческой этики, беспощадно ругались, сквернословили, сильные обижали слабых.

Как-то по лагерной дорожке к бараку брели два пленных, поддерживая друг друга. Но вдруг, в одно мгновение, оба встrepенулись, ожили и, как коршуны за добычей, бросились на землю. Один из них схватил окурок, подброшенный охранником для потехи. Второй взмахнул рукой и ударил первого по голове.

— Шакал! — с обидой произнес он. — За тобой никогда не успеешь...

Счастливый находкой друг ничего не ответил. Бережно охраняя окурок от покушения соседа, он свернул в сторону и, воровски оглядываясь по сторонам, начал лихорадочно затягиваться.

Я был свидетелем трагической сцены, когда пленный пытался зарезать соседа перочинным ножиком только за то, что тот украдкой облизал его котелок.

После завтрака (это же был и обед) подсчитывали, сколько трудоспособных, сколько «филонит», сколько «завернулось». Полицаи бегали из барака в барак с записными книжками, проверяли нары, выгоняли в строй больных.

— А ты что развалился? Баланды объелся, что ли? — толкая палкой в ноги, грубо кричал полицай. — Оглох, что ли? Команды не слышишь?

Но лежавший на нарах уже не отвечал. Он, наверно, еще с вечера ушел в мир иной, где нет войн, лагерей, нет пленных, где все свободны. Он лежал на нарах холодным и уже не заботился ни о построении, ни о добавочной порции баланды.

Здесь же, перед строем, седовласый, с грубыми чертами лица, оберполицай Мотт давал волю своему деспотизму. Страшно было провиниться. Лучше сразу умереть. Нарушение лагерной дисциплины одним из пленных несло за собой наказание для всех. А это означало, что виновник попадал потом в немилость всего лагеря.

Однажды, например, на кухне было своровано несколько кочанов капусты. Пленный повар доложил Мотту. Взволнованный Мотт покраснел, его движения стали нервными. Он бегал перед строем и кричал:

— Кто своровал капусту? Выйди вперед!

Пленные стояли, не двигаясь с места.

— Молчите? Так вот я сделаю вас собаками... Лайте: гав-гав-гав! Ищите капусту по всему лагерю. Даю пять минут. Разойдись!

Все разбежались в стороны. Люди знали, что Мотт не шутит, но лаять никто не решался.

— А ты что не лаешь? — крикнул он первому попавшемуся и ударил его кулаком по голове.

Молодой длиннолицый парень, закрывая руками голову, упал на землю. Другой полицай добил его сапогом.

Мотт стоял в стороне безмолвно, будто что-то обдумывал, а когда поднял голову и взглянул на усердствующего полицая, тот попытался ему улыбнуться.

— А ты что ухмыляешься, как медный пятак? Человека убил и смеешься? Новые зубы вставил? Я их тебе почищу! Собрать ко мне всех!

Перепуганный насмерть полицай подал команду:

— Становись!

Началось нечто ужасное, особенно для больных, — десятиминутная гимнастика. Обессиленные люди стояли перед телом убитого парня и, еле двигая ногами, исполняли команду:

— Раз, два, три! Вздох! Выдох!

— Я думаю, что, кроме идиотов, на земле почти никого нет... — сказал озлобленный повар.

Его тоже поставили в строй, и он сердито косил глазами на полиция и бурчал про себя:

— Подожди, герр, попадешься ты мне! Я из тебя сделаю котлеты...

— Отставить! — орал полиция. — Молчать!

Мотт стоял в стороне, сложа руки на груди. В его серых бесцветных глазах — торжество победителя.

— Взять лопаты! — приказал он более спокойно.

Приготовления к работе заканчивались в несколько минут... Нас строили по четыре, разбивали на группы по роду работы и отправляли версты за три от лагеря.

Никогда не забуду эту дорогу, асфальт «Варшавки», покрытый блестящей, словно алюминиевой коркой... От Рославля до линии фронта непрерывно сновали машины, ревели грузовики, на прицепах грохотали пушки. На жерла стволов были надеты брезентовые колпаки. Солдаты кутались в маскировочные палатки, сидели в кузовах машин, сосали трубки. Трещи и дымясь, проносились мотоциклисты, доставляя в штабы донесения. А по сторонам дороги на болотистой почве чахлые березовые рожицы, на пригорках — порыжевший мох и пестрые пеньки, обколотые для костров. Дальше

к горизонту — лоскуты черной, озимой пашни; осыпавшиеся сады; неуклюжие силуэты печек и развалившихся труб — остатки сожженной деревни.

На часовом пути до места дорожных работ каждый шаг был для нас приметным. Там мы падали, там теряли наших ослабевших друзей, там плакали и молились Богу, призывали Его в свидетели человеческой жестокости. Конвоиры были для нас большой загадкой. Нам казалось, что эти люди не имеют сердца, что они не были рождены матерью. До войны мы не знали, что на свете могут быть такие жестокие люди. Слабых подгоняли палками, били прикладами, а когда они садились у дороги, безнадежных пристреливали и сбрасывали в канаву.

Мы были полураздеты. У немногих — ботинки с деревянной подошвой, большинство обвертывали ноги тряпками. Всякая попытка местного населения оказать нам помощь строго наказывалась. Люди это знали и всячески нас сторонились. Во всем сказывалась гитлеровская политика уничтожения пленных, истребление нации. Так немцы делали себе врагов — отважных и непримиримых партизан, отряды которых составлялись большей частью из пленных беглецов.

Голод и наступающая зима действовали угрожающе. Смерть каждый день косила наши ряды, но они же каждый день пополнялись за счет новичков. Специальная команда «санитаров» (из полицейских) по утрам очищала нары от трупов.

Однажды сосед по нарам пришел в барак со двора и начал равнодушно, с обыкновенным лагерным безразличием, рассказывать:

— Я, значит, иду по наряду, а они несут грузина... Помнишь, что летом песню про Сталина пел? Несут его к черным воротам, в общую яму, а он стонет и тихо, еле слышно, просит:

— Братцы, что же вы делаете? Ведь я еще живой...

— А кто лучше знает? Ты или доктор? — дерзко ответил ему могильщик.

Этот рассказ взволновал многих, но жаловаться нам было некому. Мы знали, что в этом случае виною всему были хорошие сапоги на умирающем. Они достались могильщикам-санитарам.

Другой сосед из «догорающих» казался нам спящим, но, слушая этот рассказ, вдруг повернулся к нам худым желтым лицом, открыл глубокие большие глаза, вяло улыбнулся и тихо, почти шепотом, начал:

— Так-то оно и есть, дружки мои... Помните у Крылова про старика и смерть? Правдиво это сказано.

Мы внимательно прислушивались к жалобам тихого соседа, а он охотно нам рассказывал:

— Бедный старик вот так, как я, обессилел. В лесу это было. Собрал он вязанку дров, а поднять на плечи не может... Жизнь утомила. Что делать? Он и говорит: «Эх, кабы смерть пришла...» А она, смерть-то, не за горами. Она стоит рядом, за плечами, страшная, с косой. Старик, увидев смерть, говорит ей: «Нет, я звал тебя не во гнев, а чтобы помогла мне поднять вязанку».

Когда сосед говорил, мы видели его слезы. Они стояли глубоко в его глазах, и это без слов говорило о неугасимой жажде жить, увидеть еще весну и солнце, увидеть свободу, детей и родной край.

Мы долго молчали, сознавая, что некоторым из нас придется идти этой же дорогой: умирать от истощения.

Сосед спросил:

— А что, земляк, умирать страшно?

— Не то что страшно, нет. Смерть меня не беспокоит, а вот боюсь того, что будет после смерти. Все эти дни об этом думаю. Пожить все-таки хочется. Детки у меня малые остались...

Он замолк и больше нам не сказал ни слова. Видно, говорить об этом ему было тяжело. Дотянул он до Рождества. О его смерти мы, соседи по нарам, не говорили два дня, чтобы получить на него рождественскую порцию баланды и кусок черного мерзлого хлеба.

И это называлось жизнью.

* * *

Прошла морозная зима. Прошли весна и лето. Немного уцелело из тех, кого немцы водили на «Варшавку». Война все еще продолжалась, но жизнь пленных была несколько иной. Изменение отношения к пленным, улучшение условий их жизни приписывались влиянию генерала Андрея Власова. Его «Открытое письмо» ходило у нас по рукам, но люди относились к нему по-разному: одни называли его предателем, другие — подставным лицом из самих же немцев, большинство же видели в нем патриота и, не скрывая, говорили:

— Наконец-то нашелся добрый человек. Может, немцев образумит...

Но беда была в том, что немцы так и не образумились.

По узкой проселочной дороге тихо, почти бесшумно

двигалась колонна отступающего немецкого батальона. Огромные битюги ночью были похожи на слонов, впряженных в повозки. За ними повзводно, молчаливо, с опаской, шли хмурые солдаты, изредка переговариваясь между собой. А сзади, на небольшой дистанции, вели нас, группу военнопленных, даровую рабочую силу.

Охрана (отделение велосипедистов) не говорила ни слова по-русски. Это были новобранцы, то слишком смелые (тогда ругали нас и даже били), то слишком боязливые (тогда были до смешного внимательны к нам). Зависело это от того, на каком отдалении была наступающая Красная Армия, как далеко от нас разрывались снаряды дальнобойных орудий.

76 Почти каждую ночь нас заставляли рыть окопы, которыми немцам почти никогда не приходилось пользоваться. Часто, не дав закончить начатого дела, нас перегоняли на другое место. Начав рыть окопы, приходилось бросать их и уходить дальше на запад.

В одну из таких ночей мне нездоровилось. Чтобы не оставить меня на «милость» немцев, друзья помогали мне выполнить окопную норму.

— Крепись, парень, крепись, — говорил мне Алексей Алексеевич Ложкин, бывший преподаватель Подольского военного училища, также когда-то угодивший в штрафной лагерь.

Это был коренастый, широкоплечий здоровяк лет сорока пяти. Бывало, сидит у костра, покусывает ногти, что-то обдумывая, а потом неожиданно вздохнет и скажет:

— Жизнь, что медяк — с одной стороны орел, а повернешь — решка... Был майор Ложкин, а теперь от ложки одна ручка осталась и то грязная.

Выбрасывая землю из моего окопа, Алексей Алексеевич говорил:

— Нам бы только за Десну, а там поминай как звали... Ускользнем! А ты крепись. Свалишься — прикончат... А к своим попадешь, гляди, еще хуже будет... Уж это я знаю, старый воробей. Допросами измучат: где, да что, да как? А потом и шлепнут или дадут на катушку... На то она и война. Разбираться некогда.

Я напрягал последние силы и, когда проходили патрули-надзиратели, бросал землю чаще и сноровистей. Грунт был твердый, лопата отскакивала. А мучительный голод переходил в жажду.

После полуночи, когда темнота была особенно густой, появлялись самолеты. Таков был распорядок каждой ночи.

— Ребята, опять начинается... — говорили в рядах.

— За ударную работу «отец народов» гостинцы нам послал... Вот уж батюшка, заботится, как о родных.

— Да, видно, он нас сегодня премирует... — глухо раздавались голоса из окопов.

Над шоссе вспыхивали ослепительно яркие ракеты, рассыпались веером и, угасая, медленно падали на землю. В такие минуты Ложкин, обычно казавшийся смельчаком, был труслив. Это нас часто сместило. Он первым падал на дно окопа и лежал там не двигаясь. Однажды мы его спросили:

— А ты чего на головы лезешь? Смерти боишься?

— Ха, смерти боишься! Я смерти не боюсь, но хочется узнать, кто войну выиграет: Сталин или Гитлер.

— Да разве ж ты не видишь, что Гитлер уже прогорел?

— Нет, не вижу. О неизвестном ничего известного сказать нельзя, — отвечал Ложкин кратко, не желая в такие минуты вступать в разговор.

Низко, чуть ли не цепляясь за деревья, пролетали над шоссе самолеты один за другим. Мы рассматривали их движущиеся черные силуэты в небе, и было до боли жалко, что над нами так близко наши братья, что и они, подобно нам, своего рода невольники, желают одного: конца войны, мирной и счастливой жизни. А нас жизнь ставила в положение врагов.

Над дорогой раздавались взрывы, далеко оглашая окрестность. Взрывались связки гранат. Их бросали вместо бомб с небольших учебных самолетов. На шоссе слышалось замешательство, отчетливо доносились ржание лошадей и стоны раненых.

Появление над нами самолетов было всегда для меня желанным. Мне хотелось лежать до утра, лежать на пахучей холодной земле, как в могиле, только бы не брать снова лопату в мозолистые до боли руки, не долбить сухую, непокорную землю.

— Ну, что летаешь? Садись-ка здесь, на поле. Поговорим по душам, — шутил Петя Купцов, наш весельчак, бывший шофер такси, когда-то умело очищавший карманы пьяных московских пассажиров. Когда мы осуждали его за эти грязные дела, он, бывало, оправдывался:

— Да я же «распрягал» только партийных...

— А почему ты знаешь, партийный он или нет? На носу не написано, — говорили ему.

— У них, у партийных, всегда денюга водилась. А у нашего брата что? Гулькин нос. Только руки пачкать... Нет, своего брата я не трогал.

Самолеты, закончив свое дело, улетали на восток. Словно из-под земли вставал сухой ефрейтор, подавая команду:

— Штейт ауф!..

И мы снова принимались за работу до рассвета.

Однажды нас привели в опустевшую деревушку. Несколько изб уже горело. Жители боялись приближения фронта и заранее бежали в леса. По улице взад и вперед растерянно бегали солдаты, выкрикивали команды, собирались к отступлению. Нас кормили остатками солдатского супа, разбавленного водой (так всегда повар выходил из положения, когда не хватало супа). Потом загнали во двор школы.

— Отдых до шести вечера! — объявил ефрейтор.

С несколькими друзьями я зашел в школьную пристройку, небольшой домик, должно быть, квартиру местного учителя. Опустевшая комната еще хранила в себе теплый, жилой запах. Рыжая кошка металась по скамейкам, невозмутимо вглядываясь в наши лица своими синими глазами. На полу лежали разбросанные вещи, никому не нужное тряпье, а в углу — куча книг. Вот знакомый мне учебник русского языка Бархударова, хрестоматия, два томика Чехова, порыжевшие ученические тетради и даже старенький, потрепанный «Дон Кихот» Сервантеса. Петя Купцов рыскал по

углам в поисках съедобного, Ложкин и двое других исследовали печь и нашли там горшок вчерашних щей. Просматривая книги, я обнаружил необыкновенно старый порыжевший томик в коленкоровом переплете с надписью на первой странице:

НОВЫЙ ЗАВЕТ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

А ниже: «Английское Библейское Общество».

Это была моя первая встреча со Словом Божиим.

Долго оставаться в доме не пришлось. Вскоре он был весь в пламени. Красные языки огня усердно лизали новое школьное здание. Оно долго не сдавалось огню и наконец загорелось.

Нас поспешно перегнали к реке для ремонта поврежденного моста, но как только мы закончили работу, в темном небе из-за облаков вынырнули два самолета. Не успели мы разбежаться в стороны, как два взрыва оглушили весь берег и от моста осталось только воспоминание. В наших рядах не досчитали трех человек, в том числе и Алексея Алексеевича Ложкина.

С необыкновенной книгой, Евангелием, я был теперь неразлучен. При первом случае прочел несколько страниц наугад. Она мне показалась исключительно ценной, заслуживающей доверия.

«Что мы знаем об этой книге?» — размышлял я сам с собой. — Годами мы сидели над „Капиталом“ Маркса и диалектическим материализмом, а когда пришла беда, оказалось, что нам не на что опереться, что живая правда где-то далеко от нас спрятана. И не преднамеренно ли

нас отмежевывали от Христа, от Его учения, называли его устаревшим, в то время как строчки Евангелия были для меня, ищущего правды, большим утешением».

Купцов критически относился к моему увлечению Евангелием, другие, наоборот, часто на привалах отзывали меня в сторону и говорили:

— Прочти-ка что-нибудь о Христе.

Акогда я начинал чтение, снимали шапки и молчаливо слушали как напутствие в большой неизвестный путь.

«Я — путь, и истина, и жизнь»; «Придите ко Мне, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

— Вот такого и нам вождя надо, чтобы Он Сам был правдой. За такого и умереть не жалко, — заключил однажды после чтения один из слушателей.

— Был Вождь, да и того убили. А, спрашивается, за что? — вмешивался в разговор другой голос.

Одно, однако, меня смущало: почему Христос, будучи Сыном Божьим, дал Себя добровольно распять? Ведь человек от этого не стал лучше, не раскаялся.

Но на этот вопрос я нашел ответ в этой же книге спустя четыре года. Евангелие стало для меня верным спутником на всю жизнь и сделало счастливым.

Значит, не я нашел Евангелие, а Евангелие нашло меня.



Дороги

Эх, дороги... Пыль да туман,
холода, тревоги да степной бурьян.
Знать не можешь доли своей.
Может, крылья сложишь посреди степей.

Из фронтовой песни

82 **Н**емало во время войны довелось мне ходить по дорогам Средней России, Смоленщины, Белоруссии. Ходил в строю действующей дивизии, ходил в колоннах военнопленных, ходил партизаном-окруженцем, ходил с лопатой в руках в рабочем батальоне. Но с тех пор, как в душу мою запала вера в Бога, вера менее горчичного зерна, вера слабая, часто отвлеченная, я помнил, что надо мною невидимое Божье око, Его святой покров.

Когда в моей дорожной сумке оказалось Евангелие, я читал его неизменно каждый день, делился мыслями с близкими друзьями, иногда спорил, сомневался, искал.

На дорогах, где «холода, тревоги да степной бурьян», не пелась веселая, бесшабашная песня. Не до веселых песен тогда было, а скорее, до слез. Долгое время постоянным моим спутником был инженер-конструктор Н., человек лет пятидесяти, с черной козлиной бородкой и большими умными глазами, тихий, скромный, почти незаметный среди пестрой братии пленных. Останавливаясь на ночлег, мы искали тихий уголок, чтобы по-

говорить о Боге, о спасении души, о религии вообще. Говорили также и о войне, назначали сроки ее окончания, но никогда не говорили о наших буднях, о нашем будущем. Не любил этого инженер.

— Положись, друг, на Бога, — наставлял он меня по-отечески. — Он знает, как тебя спасти, как вывести на свободу.

Инженер был человеком глубоко верующим, искренним и честным, и меня всегда удивляло, как он мог со своим мировоззрением работать в Москве, на крупных заводах и правительственных стройках.

Мои материалистические взгляды на жизнь рушились с каждым днем, и мне очень хотелось, чтобы идеал социалистического общества брал свои корни не у Маркса, а в учении Христа, в Его заповеди любви к Богу и к ближнему. А это общество, мечтающее о построении коммунизма на началах равноправия, отвергает Божественность Христа, преследует Его исповедников.

Я понял, что попытки советского правительства обосновать коллектив на взаимном понимании долга и сотрудничества людей наталкиваются и будут наталкиваться на подводные камни человеческой жадности, эгоизма и жестокости. Не с сердца, не с души ли надо начинать строить новое общество? Отвергая Бога, коммунизм показал свое абсолютное бессилие исправить испорченный характер человека, его греховную природу.

С другой же стороны, евангельское учение привлекало меня своей простотой, неподражаемой мудростью,

своей жизненностью, практической стороной. Это учение показывало мне меня самого, мою ничтожность и неспособность жить на земле без помощи Всевышнего. Я чувствовал, что для полноты разумной жизни во мне чего-то не хватало, тем более не хватает теперь, когда я в неволе, в плену у врага. И снова возникал мой вопрос: откуда ведет начало мир? Каково мое место на земле? Зачем я должен жить и страдать? Не лучше ли покончить с собой, как это сделали некоторые?

В разрешении этих вопросов пришел мне на помощь инженер Н. Он знал мои трудности и не упускал случая, чтобы утешить меня, наставить, подсказать.

То, что я изучал за студенческим столом несколько лет, здесь, на полях Смоленщины, сама жизнь подвергала строгому пересмотру. Если материалисты предложили мне принять на веру учение о материи, что она не имеет ни начала, ни конца во времени и в пространстве, но всегда была, есть и будет, почему я, — думалось мне, — не могу наконец по примеру инженера Н. принять близко к сердцу учение о Боге, что Он вечен, не имеет ни начала ни конца, но был, есть и будет?

«Вначале была материя», — учили меня в школе. Но откуда взялась материя? На этот вопрос мне не дали ответа. «А если не знаете, — размышлял я, — откуда взялась материя, если не можете мне это объяснить, я имею полное право признать Бога Творцом, имею основание верить в Него».

Меня далее учили, что все произошло из уже существовавшей материи вследствие воздействия на нее ей присущей энергии. Но что вызвало материю

из инертного состояния, что дало ей первый толчок к движению? И на этот вопрос мне не дали ответа.

Свет Евангелия обнаруживал пустоту моих материалистических взглядов на начало всего сущего. Если все натуралисты и даже дарвинисты признают, что все живое происходит только от живого, то как же мог появиться первый зародыш? Мне вспомнились журнальные статьи о живой клетке. Я их когда-то вырезал, собирал, наклеивал, но они мне ничего не дали. Как известно, опыты по созданию живой клетки до сих пор неудачны. Живую клетку создать невозможно.

Наконец я задумался о том, как объяснить происхождение мысли. Если мысль — выделение мозга, как желчь — выделение печени, тогда мысль должна быть материальной, то есть должна обладать качествами материи. В то же время всем нам известно, что мысль, как и наше сознание, — явление сугубо духовное.

Так с каждым днем, часто на глазах у смерти, я приобрел уверенность в бытии Бога, в бытии Творца всего существующего.

Однако этой веры, этого познания Бога оказалось мало, очень мало для того, чтобы найти объяснение переживаемым тогда событиям. Даже инженер Н. со своей философской склонностью мышления часто пожимал плечами и, пряча от меня свои глаза, говорил как бы про себя:

— Не все нам постижимо. А это еще раз доказывает, что есть «Вселенский Ум», есть мысль и цели выше нашего понятия.

Больше всего меня тревожили страдания невинных людей. Тревожили страдания детей. Как-то, холодной осенью, к концу пасмурного короткого дня я шел в деревню Говязья Слобода (ныне Брянская обл. — Прим. автора), шел украдкой, по-заячьи, по-партизански пустынной, почти непроезжей дорогой. Сырой ветер, как бездомник, рыскал по кустам, бежал мне навстречу, мешал идти. Неожиданно у дороги я заметил трех детей, пригорюнившихся под кустом у холмика свежей земли. Это была могила. Да, это была могила их матери. Ее убили немцы за связь с партизанами. Старшей девочке было не более семи лет. Лица детей посинели от холода. Как испуганные зайчата, они прижимались один к другому и рассеянно смотрели на меня.

Я спросил у старшей, стараясь быть ласковым:

— Детки, что случилось? Почему вы здесь сидите? Скоро будет темно. Идите домой...

— У нас нет дома, — тихо, едва слышно, проговорила девочка и начала всхлипывать.

Ее плечики вздрагивали, ручки дрожали. Двое младших детей выглядели настолько ослабевшими, что уже не могли плакать.

— Вчера немцы взорвали нашу землянку...

— Где ваша мама? — спросил я.

— Убили... — проговорила средняя и указала мне рукой на холмик земли.

— Вставайте, я отведу вас в деревню, — настаивал я. — Ведь в Слободе теперь немцев нет.

Дети молчали.

— Что же вы будете делать?

— Мы умрем здесь вместе с мамой... — ответила старшая сквозь крупные слезы.

Вид этих детей настолько тронул мое сердце, что я не мог удержаться, чтобы не возвысить голос:

— Боже, за что же эти дети должны страдать?!

Старшая девочка, очевидно, чувствуя ответственность за младших сестер, еще громче расплакалась и начала просить:

— Дядя, не оставляй нас. Мы пойдем с тобой...

Они не знали, что дядя тоже не имел где приклонить голову.

Этот случай никак не укладывался в моем сознании рядом с верой в живого и справедливого Бога, каким мне открыло Его Евангелие. Пусть уже страдают грешники, я понимаю — это по заслугам. Но дети, дети?

Год спустя, во время отступления немцев, на окраине станции Чаусы (в Белоруссии) я встретил женщину. Она сидела на улице вблизи сожженного, еще дымящегося домика. На руках у нее лежал мальчик лет пяти, умерший от ранения осколком. В руке, прикрывавшей ребенка, женщина держала измятую, окровавленную шапку мужа. Я не решался подойти к ней с вопросом. Все равно ничем не мог ей помочь. Горе женщины было так велико, что она сидела словно в исступлении и, не смыкая глаз, дико смотрела на окровавленную шапку своего мужа.

Люди подходили, на минуту останавливались и снова уходили. Невдалеке рвались снаряды дальнобойной советской артиллерии, на полях горели копны только что убранной ржи, дым застилал улицы. Некоторые рассказывали:

— Ее мужа немцы застрелили. Говорят, толкнул одного грабителя. А теперь вот жене одна шапка осталась, все немцы порешили...

И невольно вставал все тот же вопрос: «Господи, за что?..»

Вспоминаю бедную старушку, дочь которой зверски убили пьяные солдаты. Она стояла на коленях, поднимая руки к небу, и кричала в пустоту:

— Люди, люди! Куда вы дели мое счастье? Где моя Наташа?

Женщина сошла с ума.

А потом позднее, уже перед окончанием войны, на улице Берлина после ужасной бомбежки я вышел из бомбоубежища на Ангальтерштрассе, и то, что я увидел, показалось мне адом. Горели разбитые дома и никто не пытался их гасить. Едкий, отравляющий дым захватывал дыхание. На столбах висели оборванные провода, лежали перевернутые трамваи, бежали люди. А во всей этой сумятице на тротуаре трехлетняя девочка теребила маму.

— Мути, мути... — плакала она, — штэй ауф, мути!

Из-под серой блузы матери сочилась алая кровь. Она была смертельно ранена.

«Господи, Боже, за что же страдают дети? В чем их вина? Как же мне верить в Твое милосердие, в Твою любовь к человеку?»

Однажды перед моими глазами очередь из автомата, почти в упор, из-за угла был смертельно ранен мой приятель и земляк И. Орлов. Когда я к нему подбежал, чтобы оказать помощь, он своими руками судорожно

засовывал кишки в живот и почти без стопа говорил:

— Ну, вот и все... Отвоевал. А за что убили, сам не знаю... И свои же, русские... Напиши дочери, что папа...

Договорить ему не пришлось. Он моментально потерял сознание.

И снова напрашивался один и тот же вопрос: «Господи, за что все это?»

С таким вопросом, огромным и многозначущим, я ходил долго. Спрашивал, как об этом думают другие. Одни говорили: «Бог тут ни при чем, если люди сами это делают». Другие говорили: «Бог это допускает, чтобы люди выявили зло и наконец сами поняли, что без Него мир сам себя истребит». А некоторые недоверчиво качали головой: «Где там Бог? Если бы Он был, то давно бы спалил проклятую землю».

Мое Евангелие, которое я бережно хранил, как-то начинало терять свою привлекательность. Читал я его реже, часто к случаю и больше по просьбе соседей.

Лишь позднее, когда мое изношенное, но памятное Евангелие ушло на родину (вместе с вещами репатриантов), я случайно приобрел Библию. Читал ее подряд с захватывающим интересом, хотя многое в ней было непонятно. Благо, за колючей проволокой я имел много времени. Когда читал пророчество Исаии об Израиле, меня тронули Божьи слова: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство?» (Ис. 1:5).

И здесь мелькнула у меня мысль: не может ли быть и сегодня так, что миллионы людей, считая себя христианами, упорствуют и не покоряются Богу? А Бог, желая их пробудить и приблизить к Себе, допускает трудности,

лишения, войны. Не может ли быть, что за непослушание отцов приходится страдать детям? Отцам стоит об этом подумать. По справедливости Божьей грех не может быть не наказан.

Отец наказывает своих непослушных детей ради их же блага, ради вразумления, а может быть, ради их же спасения. Наказывает, потому что любит. А как часто непокорные дети остаются непокорными, несмотря на увещание и наказание отца? Не так ли бывает и с нами по отношению к Богу?

Только оказавшись в тяжелых обстоятельствах, пробудилась и моя душа, воззвала к Богу за помощью. А дай мне благоденствие да хорошую жизнь, я и за сто лет о моем Создателе не вспомню. Такова наша греховная природа. Не случайно родилась и живет в народе поговорка: «Как тревога, так до Бога».

90 Как-то в американском журнале я прочел заметку о жизни проповедника Х. в Абиссинии. Однажды он молился так:

«Дорогой Иисус, пошли нам больше скорбей. Когда наша страна была оккупирована, а король был в изгнании, когда не имели для детей хлеба, Ты знаешь, Господи, как много людей приходило в подвал на молитву. Каждую ночь были желающие креститься во имя Твое. А теперь война прошла. Король наш вернулся. И церкви наши пусты, люди отвергают Твое Слово, Твою любовь... Господи, ради спасения многих душ пошли нам больше скорбей...»

Не в этом ли заключается ответ на мой вопрос: «За что, Господи?»

Помню, что и мое чтение Евангелия не всегда было вызвано исканием истины, хлеба жизни. Я часто читал Евангелие для плоти, страха ради.

Великую истину сказал мне Господь через апостола Павла: «Никто не ищет Бога». И я не искал Его. Я искал то, что Бог дает: благополучие, счастье, удачу.

Часто мое внимание останавливалось на 7-й главе Послания к римлянам. В последней ее части я видел картину моих переживаний, как будто все сказано обо мне: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти?»

Иногда я брал записную книжку и с твердым решением делал такую запись: «Сегодня, такого-то числа, я оставляю всякий известный мне грех и буду жить чистой жизнью, как учит Евангелие». Но уже через несколько дней, не находя в себе силы сопротивляться влечению греха, я с болью в сердце вырывал эту страницу. Тогда приходили мысли о нежизненности Евангелия, будто не я, а оно, Евангелие, виновато в моих неудачах. Приходили и сомнения: может быть, Бог — это только пассивная сила, а человек — животное, продукт многовековой эволюции? Но становилось стыдно за себя, за нелепые мысли. Нет, я верил в Бога, в Его творческую силу, в Евангелие, а в то же самое время оставался погибшим грешником.

Впереди ожидали другие, более глубокие переживания, полное и абсолютное разочарование в самом себе, а за всем этим — новая жизнь во Христе Иисусе.

В январе 1943-го...

Кто из жителей Средней России не любит раннего январского утра? С каждой минутой светлеет темно-голубое небо, восток озаряется румянцем, чистое ровное поле начинает искриться холодным серебром. Воздух сухой, насыщен морозом, но это вас не пугает. Вы сидите в санях-розвальнях на мягком душистом сене в пахнущем овчиной полушубке, в валенках и теплых рукавицах. Лошадь бежит охотно по утопанной дороге, вас слегка заносит на ухабах, поют полозья, поскрипывают натянутые гужи хомута и оглобли. Из-за леса поднимается красное, как пурпур, солнце. Тишина наполняет ваше сердце невыразимой радостью. Хочется петь о родине, о людях, любящих жизнь и свободу, о былой забытой тройке.

92 | Так думал я ранним январским утром 1943 года в строю рабочей роты на пути из поселка Красный Луч в деревню Бучино, на Смоленщине. Рабочая рота была составлена из военнопленных — тех, кто попал в плен совсем недавно, в ком еще не только теплилась жизнь, но кто мог орудовать лопатой, очищать дороги от снежных заносов, строить мосты и прочее.

Немцы отступали. Ранним утром отчетливо слышались разрывы снарядов. Била дальнобойная артиллерия. Наступали советские дивизии. От романтики раннего январского утра остались те же поля, то же солнце, тот же снег. Но не было ни полушубка, ни валенок, ни рукавиц, не было саней-розвальней. Нас

вели по занесенной снегом равнине, умышленно минуя большие леса.

Рота жила сегодняшним днем. «День прожил — и слава Богу!» — говорили перед сном. Не знаю, верил ли кто из нас в победу немцев, но и в победу коммунистов не верили. Всех нас объединяло одно — желание жить, пусть как-нибудь, но жить.

В этот день холодный восточный ветер валил нас с ног, забивал дороги поземкой. Колючая снежная пыль набивалась за воротник, мороз хватал за уши, щеки, нос. От усталости стягивало ноги. Чтобы не замерзнуть, надо было постоянно быть в движении.

Первую остановку нам дали в поселке с десятком занесенных снегом изб. Белые от мороза маленькие окошки сиротливо глядели в мир, где отступали немецкие батальоны, где шла война.

У разрушенного сарая толпились серые, полусгорбленные люди. Мы искали затишья. Конвоиры поочередно ходили в ближайшую избу греться. Это давало нам право зажечь костер.

Был полдень. Снежное серое небо светлело, утихала метель, изредка проглядывало скупое солнце. Костер долго трещал и дымился. Таял снег. Поглощая дым, разгорался хворост.

Из-за места у костра возникали споры. Пришлось установить очередь для обогривания. В воздухе висели бранные слова. Ругали Сталина, Гитлера и все на свете.

— В лес бы податься, — говорил мне надухом Ильинский. — Только не время теперь: загнешься, как муха.

Я любил Ильинского и привязался к нему, как к отцу. Он это знал и в пути неотступно шел со мной. Это был пожилой худощавый белорус, наш общепризнанный староста. В начале войны он каким-то образом попал в Москву, оттуда в ополчение. Вскоре был взят в плен, но из плена бежал домой, в деревню, был снова взят немцами и таким образом оказался в рабочей роте. Он был высокого роста, неуклюжий, но очень выносливый человек, молчаливый и наичестнейший из всей нашей братии. Только ему мы доверяли ответственное дело, от которого зависела наша жизнь, — делить паек: булку черного с опилками хлеба на 6—7 человек. И он делал это безукоризненно точно, как никто другой.

Я не ответил на вопрос Ильинского, и он продолжал:

— Мне-то нипочем, до весны вытяну... А вот ты, молодчик, видно, доходить начал.

В разговор вступил Паша Кудинов, стройный молодцеватый парень, бывший беспризорник, неудачный воспитанник знаменитого педагога Макаренко. Это был неугомонный рассказчик, отчаянный картежник и талантливый музыкант. Его маленькая голова под расплывшейся, как гриб, пилоткой пряталась от холода в плечи, слегка рыжеватое лицо его на морозе краснело, казалось свежим и беззаботно веселым, словно война ему была нипочем.

— Правда, друзья-ребятушки: не жизнь, а жестянка. В тюрьме лучше: «сидор» получишь и плюй в потолок. А здесь вкалывай день и ночь, — жонглировал Паша на блатном жаргоне.

— Терпи, казак, атаманом будешь, — отозвался быв-

ший танкист Антон Шпак, находчивый и смелый парень лет двадцати. Он хорошо говорил по-немецки, но скрывал это от других, и мы знали, что не сегодня-завтра, при первом случае, Антон от нас уйдет. Он, пожалуй, один из всех нас настроен просоветски: в тряпках, которыми обматывал ноги, прятал орден Красного Знамени. Антона мы побаивались. А вдруг он шпион — немецкий или советский. А может, служит и тем, и другим. И такое бывало.

Ильинский грелся у костра и вел разговор на другую тему:

— Домой вернешься, на всю жизнь будет что рассказывать.

— А где у него дом-то? — спросил Кудинов шутя.

— Была у собаки хата...

— Им, думаешь, хорошо? — продолжал далее Ильинский, указывая глазами на сгорбившегося конвоира, блондинистого немца в зимней шинели с капюшоном.

— Смотри, как он съежился. Зуб на зуб не попадает.

— Ты еще думаешь домой вернуться? — спросил я Ильинского, которого все мы звали не иначе, как старостой.

— А то как же? Вернусь. Обязательно вернусь.

— К «отцу народов» за красный стол, — вставил Антон.

Паша Кудинов тем временем усердно хлопотал у костра, прикрывая жаром несколько картофелин, и про себя напевал известную песенку Симонова:

«Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди».

Он закончил песню и моргнул мне глазом:

— Вот теперь подзакусим, подзарядимся...

В это время у костра появился фельдфебель Балай, немец из Польши, живший когда-то в России. Это был вершитель наших судеб, гроза роты, бесконтрольный наш начальник, имевший право судить и миловать на месте.

— Это что такое? Кто «делал» огонь?

Он размахивал большой суковатой палкой, как железом, и кричал все настойчивей и яростней:

— Кто «делал» огонь?

Кудинов нагнулся к костру, но здесь же суковатая палка Балай ударила его по спине. Он упал на колени, но сразу поднялся во весь рост.

— Строиться! Становись по четыре! — орал переводчик.

Кудинов стоял у костра и прямо в упор смотрел в раскосые глаза Балай. Он о чем-то думал, что-то решал.

— Бегом, марш! — скомандовал Балай.

Кудинов стоял, не двигаясь с места.

Балай переходил на немецкий язык. Мы, стоявшие уже в строю, знали, что разгневанный фельдфебель может застрелить Кудинова на месте.

— Ду, руссен швайн! Марш! — надрывался фельдфебель.

Кудинов взглянул на нас, полный решимости. Мне стало жаль парня, и я, стоя в строю, громко сказал:

— Паша, не губи себя за четыре картофелины! Еще не время.

Паша сломил себя и поплелся в строй со слезами на глазах.

В это время Балай разбрасывал горящие головешки, бросал в костер комья снега, топтал его ногами и неистово по-петушиному кричал:

— А картошка откуда? Где взяли? Я вас накормлю, большевистское отребье!..

И здесь же подал команду:

— Бегом! Ложись! Встать!

Стоя у дороги, он долго гонял нас по глубокому снегу. А когда улегся его гнев, усталым голосом прохрипел:

— Отставить! Встретимся в Бучино.

* * *

Нам дали ночлег в нескольких домах на краю большого села Бучино.

Хозяйка встретила нас приветливо, со слезой:

— Соколики мои родимые, как же вас Господь хранит? Присаживайтесь. Места у меня немного. Хатенка малая, да теплая. Обогрейтесь, сердешные.

Видно, не впервые за время войны ее избу наполняли солдаты, но я не думаю, чтобы она так любезно принимала немцев, как нас, русских военнопленных в полунемецкой униформе. В каждом она видела своего, родного, близкого.

— Чем же я могу послужить вам, родимые? — спрашивала она, суетясь в избе. — Чайку, что ли, нагреть?

— Не откажемся. Грейте, мамаша, — сказал староста, хотя сам был не моложе нашей хозяйки.

Было уже темно, когда ефрейтор принес нам скудный паек. Он переписал наши имена, напомнил, что завтра

утром мы должны быть готовы на работу, и пожелал нам доброй ночи.

Когда немец ушел, наша хозяйка, Елена Петровна, сказала:

— Нехристи они окаянные. Обещали дать свободу, да, видно, добра от них не будет. Хозяйничают надо всеми, как хотят...

— Повременить надо, — утешал хозяйку староста. Он пил третью кружку чая, пот крупными каплями собирался на его лбу. — Дай вам Бог здоровья за чаек. От имени всех благодарю.

Этим временем Кудинов настраивал мандолину. Он носил ее в дорожном мешке, отпустив струны, и каждый раз, при первом случае, ее настраивал и подавал голос:

— Отставить, господа-товарищи! Начнем программу. Первым номером даю попури на мотивы бравого солдата Швейка.

— Верно. Это будет лучше. Надо отвести душу, — соглашались многие.

Вспоминая об этом, я думал: откуда у нас, голодных, полуразутых, полураздетых, утомленных, бесправных, обиженных судьбой людей, бралось это желание петь, рассказывать до полуночи? Нет, видно, трудно жить русской душе без песни. Только бы научилась она петь песню настоящую, о радостях жизни, о счастье немеркнушем, о доброй надежде на светлое будущее. Но мы таких песен не знали. Песня Паши Кудинова была наполнена безысходной грустью:

Вдоль по улице метелица метет,
А меня тоска-кручинушка гнетет.

Усевшись на хозяйском ящике, поближе к печке, он встряхивал давно нестриженным рыжим чубом и пел проникновенно и глубоко. Разговоры умолкали. В избе стало тихо. А над столом мелькал огонек лампадки. Страшные тени двигались по серым, пропотевшим стенам. Узбек Салимов, держа иголку с ниткой в руке, так и замер в этом положении.

Кудинов кончил петь на полуслове и отрывисто сказал:

— Избирайте, хлопцы, другую, общую...

Он настроил еще одну струну, и Гриша Александров, мой земляк-новозыбковец, начал старую песню волжских бурлаков:

Эй, ухнем! Эй, ухнем!

Еще разик, еще раз!

Гриша пел лучше всех. Его белое, как снег, лицо с большими широкими скулами мгновенно преображалось, задумчиво одухотворялись светлые глаза. Он вглядывался куда-то вдаль и выводил чистым, задушевым тенором:

Мы по бережку идем,

Песню солнышку поем.

Все, в том числе и мусульманин Салимов, подхватывали песню, налегая на басы:

Эй, ухнем! Эй, ухнем!

Еще разик, еще раз!

Вторым номером, как обычно бывало в лагерных бараках, коренастый сибиряк Антон Шпак пускался в плясовую. Было до слез смешно и жалко смотреть на его разбитые до абсолютной негодности солдатские ботинки, стянутые веревкой, на его широкие,

не по росту, маскировочные брюки — остатки формы танкиста. Он забавно приседал, сделал два-три круга, коротко отбил чечетку и лихо с эхом, щелкнув себя по рту, камнем опустил на скамью.

— Ишь, уходился, — шутил староста. — Пять минут не вытянул...

— У Антона кишка коротка...

— На баланде далеко не уедешь, — оправдывался парень. — Вот давай булку хлеба да кусок сала, тогда посмотрим, сколько я сделаю оборотов.

— Ишь, сала ему захотелось, — отозвался Кудинов. — Ведро картошки — и то было бы хорошо. А он сала... Сало кошка украла.

— И немцам отнесла, — добавил чей-то голос из запечья.

100 | Веселая атмосфера наполнила избу, в которой, может быть, никогда не пелась русская песня, не раздавался живой, безобидный смех.

— Представляется слово нашему заслуженному поэту, — объявил Кудинов и несколько раз хлопнул в ладоши.

Это относилось ко мне. Я тогда писал стихи, много писал. Толстый записной блокнот был наполовину исписан карандашом. Это были беспомощные, часто неграмотные стихи о личных переживаниях, о нашей безрадостной жизни, вроде:

Зима проходит, как бывало,
Мороз с метелями не спорит.
Моих друзей уже не стало,
Да и меня не станет скоро.

Друзья любили мои стихи и часто говорили:

— Ты пиши, ничего не пропускай. Только правду пиши. После войны книжку твою читать будем.

Но я любил читать стихи и других авторов: Гумилева, Есенина, Клюева. Это мне удавалось лучше. На этот раз припомнились мне стихи Ильи Садофьева:

Не смотрю на жизнь я с подоконника,

Не таюсь в потемках воровских.

У ворот пиликает гармоника,

Задавиться впору от тоски.

Ильинскому это стихотворение не понравилось. И как только я кончил, он сказал:

— Опять не то читаешь. К чему нам это? Давай про Россию, про Родину...

В морозной мгле, как око сычье,

Луна-дозорщица глядит...

Я начал читать известное стихотворение Н. Клюева «К России», но в это время мы услышали грубый немецкий говор. Порывисто открылась дверь. Покачиваясь, как от ветра, размахивая пистолетом, в избу вошел Балай.

Он был пьян. В его покрасневших, заячьих глазах было все: и презрение, и зло, и решимость.

— Штиль гештанден! — гаркнул он во весь голос и сделал шаг ко мне. — Партизан! Я знаю! Ха-ха-ха... Вот когда ты попался!

В избе все замерли в ожидании, что будет дальше. Всех охватил страх. Казалось, было слышно, как стучали наши сердца. За окном завывал ветер, гудело в трубе.

Балай прищурил глаз и направил на меня тяжелый бельгийский пистолет.

Сознание, что в эту минуту, на этом месте кончается моя жизнь, острой болью ударило мне в сердце, глаза застилала муть, качалась изба, люди, мигающая лампа и Балай с направленным на меня пистолетом. В одно мгновение я прочувствовал вечную обреченность. Желание жить, жить где угодно и как угодно, но жить, заполнило все мое существо.

И здесь я снова всей душой взмолился Всевышнему. Все мои мысли остановились на Нем, моем Заступнике: «Боже, я погибаю... Спаси и помилуй...»

Балай выстрелил.

В моих глазах стоял огонь. Едкий пороховой дым лез в горло. Я напрягал усилие, чтобы понять, куда мне попала пуля, но, как ни странно, боль нигде не чувствовалась. Только сердце, словно придавленное острым, тяжелым камнем, отзывалось болью и мешало дышать.

Первой вскрикнула хозяйка и застонала.

Я открыл глаза и взглянул на Балаю. Он по-прежнему стоял передо мною, и синее полотно дыма тихо колыхалось над его головой. Черное дымящееся дуло пистолета все еще смотрело на меня.

Вторая волна неопишемого ужаса охватила меня с ног до головы.

— Партизан! Думал, мы ничего не знаем? Все знаем, — орал Балай.

Но в это время произошло нечто особенное.

Антон, стоявший в нескольких шагах от Балая, вдруг кинулся на него коршуном и схватил его за руку.

Один за другим раздались еще два выстрела. Комната застилалась дымом, на потолке горели обои.

— Ишь ты, герой! — приговаривал Антон, скручивая руки Балаю. — Мы тебя тут разделаем...

Я стоял все в том же положении, не находя сил сдвинуться с места. В избе все засуетились. Хозяйка стонала громче и чаще. Когда Балай оказался на полу, Ильинский в одно мгновение скрутил ему руки ремнем. Я бросился к хозяйке. Она истекала кровью и тихо сквозь стон молилась:

— Боже, Боже... Услышал Ты молитву мою... Прибери теперь меня, грешную.

Она открыла глаза и увидела меня, перевязывающего ее руку.

— Слава Тебе, Господи! Ты сохранил эту душу...

Пуля прошла ей через предплечье, по-видимому, повредив кость.

Кто-то убежал в комендатуру, чтобы доложить о случившемся. А Балай лежал связанный, бился головой о пол, стонал и ревел охрипшим пьяным голосом:

— Проклятые Иваны! Я вас проучу! Развязать! Приказываю!

Антон держал в руке пистолет Балая и говорил:

— Что будет, то будет. А работа чистая...

Вскоре избу окружила жандармерия. Мы оказались до утра под арестом. Немцы, не развязывая, положили Балая в сани. Через несколько минут за Еленой Петровной приехали санитары.

— Я рада, — сказала она, прощаясь, — что так кончилось. Бог мою молитву услышал... За тебя я, соколик,

молилась. Молодой ты... А мне все равно. Смерти я не боюсь... Там лучше будет...

— Спасибо, спасибо, — повторял я, поддерживая Елену Петровну.

Жандарм грубо толкнул меня в спину и указал место в углу. Всю ночь я не спал. Думал, как дорога жизнь человека. И какой дешевой делают ее люди. Заглянув очами в лицо смерти, я еще раз увидел, что умереть не готов, что я не могу сказать, как Елена Петровна:

— Смерти я не боюсь... Там лучше будет...

Внутреннее чутье еще раз мне подсказывало, что это «там» — не миф, а реальность. «Там», то есть по-тусторонний мир существует. И смерть — не просто уничтожение. Иначе чего бы было ее бояться? Нет, верно, душу человека убить нельзя. Она бессмертна, она живет в ином измерении. Вот о душе-то и подумать мне надо. Серьезно подумать, — решил я.

Утром, после короткого допроса в комендатуре, меня, Антона Шпака и Пашу Кудинова отправили в штрафной лагерь, в Рославль. Прощаясь с нами, Ильинский обнял меня по-отцовски, прослезился и сказал на ухо:

— Сынок мой, держись Паши. С ним не пропадешь.

Мое сердце говорило мне другое: держись Бога. С Ним не пропадешь.

И это была правда.



Церковь и люди

24 февраля 1946 года — памятный день русских невозвращенцев. В этот день возле небольшого баварского городка Платлинга разыгралась небывалая в истории трагедия. В этот день американское командование оккупационной армией в Германии по приказу из Вашингтона насильно выдало, а может быть, и продало 550 бывших офицеров Красной Армии советскому правительству, выдало на явную смерть, на расправу.

Об этом уже написано немало книг, очерков и воспоминаний. Уцелевшие будут помнить всю жизнь, как рано утром в бараки ворвались солдаты «Первой христианской дивизии» с красными крестами на рукавах униформы. Пуская в ход дубинки, они молниеносно подняли весь лагерь на ноги и выгнали всех во двор. От солдат несло водочным перегаром, они неистово кричали, ругались и беспощадно били.

Нас, полураздетых, с поднятыми руками, построили в ряды под усиленным конвоем. Происходил тщательный обыск. Искали главным образом бритвенные ножи, которыми многие уже вскрыли себе вены. Холодный ветер пронизывал насквозь, мокрый снег падал за шею и ледяными каплями стекал по спине.

Эти люди не были преступниками перед своим народом. Многие из них, как и я, не сделали ни одного выстрела за всю войну, многие, как и я, были освобождены из нацистских лагерей. Под тяжестью невыносимой пленной жизни многие из этих людей изменили

своему правительству, и в этом было «их тягчайшее преступление».

В этот день исполнились мои тяжелые предчувствия. Во всем этом событии я увидел суды Божьи, суды справедливые, заслуженные. Теперь мне ничего не оставалось, как снова обратиться к Богу с раскаянием, с молитвой, снова просить у Него защиты и милости, просить спасения. Я любил молитву Ефрема Сирина: «Господи, Владыко живота моего...». Но эта молитва не отражала нужд текущего момента, и я молился молитвой мытаря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику» или просто своими словами: «Боже, сохрани меня от репатриации, спаси ради жены, которая остается несчастной...»

Проходили страшные минуты, отмеченные словами поэта К.:

Из вскрытого горла текущая кровь
Кричит безглагольной струею,
И снятый с петли возвращается вновь
К веревке, что манит петлею...

И только к концу дня пришел ответ на мою молитву. В последнюю минуту, уже перед раскрытым вагоном, совершилось чудо. Бог стал на мою сторону. С той поры я называю свою жизнь сверхурочной.

Через несколько часов я лежал на больничной койке. Сердце переполнялось благодарностью к Всевышнему. Это Он спас, Он защитил. Теперь в этом не было сомнения.

На другой день ко мне пришел католический монах. Он дал мне медальон с изображением Девы Марии, как «верный пропуск в Царство Небесное». Чуткий

и внимательный к духовным нуждам монах исполнил мою просьбу: пригласил православного священника. У него я исповедался, принял и исполнил таинство причащения. Но все это принесло мне только временное облегчение. Внешне я как будто готов был встретить смерть, а на самом же деле душа не имела ни мира, ни покоя, ни прощения «всем и вся».

Вскоре Бог снял с меня Свою карающую руку. Неожиданно, буквально в пять минут, я оказался на свободе. И в первое же воскресенье я пошел в церковь, чтобы возблагодарить моего Избавителя. За последние гроши я купил несколько свечей и с благоговением поставил их перед святыми угодниками. С тех пор я стал ревностным и примерным прихожанином. Еще раз обещал Богу постоянно читать Библию, молиться и уходить от всякого зла. Но, оставаясь верным этому обещанию, я вместе с тем оставался верен и моему «злому гостю». Он владел моими желаниями, мыслями и чувствами, и потому скоро, очень скоро я оказался на широкой дороге греховной жизни.

А это еще больше влекло меня к церкви, побуждало искать победу над грехом, победу над самим собой.

Я читал духовную литературу и старался придерживаться наставлений отцов Православной церкви и русских подвижников благочестия. Вот советы Феофана Вышенского Затворника:

«Раза два становитесь до обеда, раза два после обеда, всякий раз творя сто молитв Иисусовых с поклонами... Молитву Иисусову повторяйте 5—10 раз и более. А то 33 раза по числу лет пребывания Господа

на земле. Или прямо возьми 24 молитовки Златоустовы. Когда язык навикнет, оно все будет читаться само собой» («О молитве Иисусовой Святителя Феофана». Изд. Мюнхен, 1947, с. 6–7. — Прим. автора).

Действительно, прав Святитель: язык мой приобрел навык, и все читалось именно, как говорит Феофан, «само собой». Но что это давало моей больной душе, больному сердцу? Мне нетрудно было разгадать, что бездушная форма заученных молитв, молитв чужих, не может соединить меня с Богом. После молитв, которые, отходя ко сну, я усердно прочитывал не только на коленях, но и лежа на полу, я часто впадал в уныние и сомнение.

Только через два с половиной года Господь мне открыл, что не Богу нужны наши молитвы, а нам самим, только молитвы живые, искренние, сердечные. А такой молитвой может быть молитва не заученная, а из души исходящая. Я также увидел, что можно читать Евангелие ежедневно и все 24 молитовки Златоустовы и все еще оставаться во грехах, то есть погибшим человеком. Богу нужны не наши молитвы, а наше сердце, мы сами. А мое сердце все еще было для Бога закрыто.

Однажды в великую, предпасхальную субботу я поехал в церковь Святителя Николая с куличом и традиционным яйцом для освящения. Весь день я провел в посте, и это давало мне моральное подкрепление, настраивало на праздничный лад.

Небольшой зал церкви был переполнен людьми. В обычные службы пустая, на сей раз церковь небывало наполнялась народом. Люди толпились в коридоре, стояли на улице, прохаживались в саду. Я стоял у стены,

перед образом Спасителя, и слушал чудесное исполнение хором пасхальных песнопений. Чувство умиления наполняло сердце, захватывало всю душу, а пробужденная совесть осуждала меня за мою неблагодарность перед моим Богом, за мою постыдную и недостойную христианина жизнь. Тяжелый камень тоски и обреченности давил мою грудь, хотелось плакать.

Церковный хор, состоявший главным образом из профессиональных певцов, пел трогательно и умиленно о страданиях Христа, о Его голгофской жертве. Через полуоткрытую боковую дверь я видел всех поющих. На раскрашенных лицах женщин разливались улыбки. Во время ектеньи одни переговаривались, другие сдержанно смеялись. А когда священник произнес: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, о всех и за вся», пожилой регент привычно взмахнул палочкой и хор запел:

«Тебе поем, Тебя благословим...»

Но здесь случилась беда. Тенор оборвал свой голос и вывел фальшивую ноту. Нервное лицо регента нахмурилось, отображая ужас и злобу. Это вызвало смех непоющей партии, некоторые ехидно улыбались, перемаргивались.

Здесь я увидел, что не только прихожане, но даже хор — это не собрание верующих душ, у которых поют сердца. Они совершенно не переживают то, о чем поют. Их трогательное пение зовет к небу, к чистой и святой жизни, а сами они, как и я, живут во грехах, в русле земных интересов.

Я испугался, увидев в себе лживого религиозника, показного формалиста, и хотелось плюнуть в свою

собственную душу, чтобы она не обманывала ни себя, ни других людей.

Во время крестного хода вокруг храма все запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе...» А где же наше воскресение, где мое воскресение? — думал я. Долго ли мы, христиане, будем жить в этой гнилой атмосфере эмигрантской жизни, где кругом бесконечные сплетни, доносы, где идет бойкая торговля своей совестью?

В шествии вокруг храма рядом со мной был доктор В. Это был молодой, но религиозный человек, отстаивавший службы от начала до конца. Мы вместе в одно время переживали страшные дни войны.

Мы стали в длинную очередь, приложились ко кресту, а после доктор В. сказал:

— Ну, а теперь ко мне. Вместе разговеемся. Вспомним наши скитания...

Я не мог возвратиться к семье — трамвайное движение еще не начиналось. Решил часок провести у доктора. Он жил в богатом немецком особняке. Там же жил и настоятель прихода отец Х.

Мы поднялись на второй этаж. Стол был накрыт, вероятно, с вечера. На столе стояла бутылка водки. Традиционный завтрак начался освященным яйцом и куличом, но доктор сразу же налил водку в стаканы.

В коридоре кто-то мерно расхаживал взад и вперед, как часовой. Доктор встал и закрыл дверь на крючок.

— Это отец Х., — пояснил он. — У него, браток, обоняние ищейки. На рюмку — как муха на мед...

Жена доктора, гостеприимная и добродушная женщина, заметила:

— Вы знаете, вчера с вечера, перед службой, мой муж давал отцу Х. хороший совет: не пить до утра. Так вот, все-таки не удержался. А теперь, слышите, ходит возле дверей, как на часах. Ждет приглашения.

— Но, но... никаких приглашений, — сказал доктор вполголоса.

— Как? — удивленно воскликнул я. Во рту у меня оставался непережеванным кусок ветчины. — Разве отец Х. перед службой позволил себе выпить? Разве он не постился?

— Он постится, когда спит, — заметила жена доктора.

Доктор увидел, что о сем следовало бы молчать, но теперь было уже поздно. Он старался поправить ошибку жены:

— Отец Х. не придает этому особого значения. Он — человек верующий, но реалист. Я таких люблю. Выпить до церковной службы — это ведь сути не меняет.

— Значит, эти руки, которые я благоговейно целовал, прикладываясь ко кресту, недавно держали стакан с дявольским лекарством, — сказал я и резким движением руки отодвинул от себя стакан.

— Нет, нет, друг, так дело не пойдет. Выпить-то выпьешь. Но вот что сначала послушай: я рос при церкви, все знаю. Скажу правду, что большинству священников служить в церкви — как бухгалтеру на счетах щелкать. Профессия, понимаешь? Волноваться тут нечего. Ведь каждый баран за свою ногу вешается. Каждый за себя перед Богом ответит. Ты ведь молился не священнику, а Богу? Что тебе до того, что священник перед службой малость клюнул? Может быть, ему это для голоса положено?

— Но ведь пьянство же грех? Кто этого не знает? — возражал я.

— Ну, а где это написано? Разве в Кане галилейской Христос не претворил воду в вино? Первосортное...

На самом деле, на этот вопрос я не находил ответа.

— А потом, — продолжал доктор, — ты подойди к этому вопросу с медицинской точки зрения. Я, как доктор, смею тебя заверить, что алкоголь — наилучшее дезинфицирующее средство. А наши желудки время от времени в дезинфекции нуждаются. Подумай только, что мы с тобой ели в плену? Конечно, алкоголь вреден, когда его употребляют сверх меры, — закончил доктор, поставив передо мной полный стакан.

— По русскому обычаю, по православному, пропустим по одной, а там веселее будет.

Мое волнение не улеглось, и я готов был выйти из-за стола, от искушения. Ведь совсем недавно я давал себе зарок больше не прикладываться к рюмке. Доктор заметил мое намерение, схватил меня за руку и, став на пути к двери, произнес:

— Ты обижаешь меня. Так дело не пойдет. Ты должен выпить или отказаться от меня как от друга.

Я выпил.

После первого довольно вместительного стакана стало веселее. Казалось, я стал другим человеком, а этот, другой, человек забыл лекцию доктора о пользе и о вреде алкоголя. Этот, другой, человек пожелал выпить одну и еще одну. На столе появилась вторая бутылка.

— А где же мера? — спросила жена доктора у мужа. — С которого стакана можно считать, что алкоголь вреден?

— У пьющих об этом не спрашивают, — отвечал муж развязным языком. — Немцы пьют, пока стакан начинает двоиться перед глазами, а мы, православный народ, пьем, пока ничего уже не видим...

— А все-таки, мои друзья, пить водку священнику — большой грех, — настаивал я, окончательно охмелев. — Другое дело — мы, простые, смертные... Где нам устоять от искушения? Но и я, поверьте, пью последний раз. Хватит!

— Последняя у попа жинка... — шутила жена доктора, раскрасневшись за столом. — Посмотрим, какая это будет последняя...

— Пей, друг! В заповедях об этом ничего не написано, — возбужденно выкрикивал доктор.

— Должно быть, Бог забыл об этом написать. Говорю это, судя по твоему состоянию, — не умолкала его жена.

На дворе было уже светло. Через раскрытые настежь окна тянуло свежестью. Из сада доносилось радостное птичье пение, величающее Творца.

— Давай, мой друг-страдалец, споем твою любимую песню, — сказал доктор уже несвязным, ломаным языком.

Он положил мне на плечо руку и, тупо вглядываясь в стену, тихо запел своим звучным баритоном. Я нагнул голову, закрыл глаза, чтобы жена доктора не видела слез, и подхватил слова:

Жена найдет себе другого,
А мать сыночка никогда-а-а...

Ищущий находит

Ко Мне обратитесь, и будете спасены.

Ис. 45:22

7 августа 1948 года, в тихий послеобеденный час, я услышал осторожный стук в дверь.

— Пожалуйста, войдите!

В комнату вошел коренастый мужчина лет пятидесяти с ясным и прямым взглядом, мягкой, привлекающей улыбкой на круглом, чисто выбритом лице. Он снял шляпу, затем роговые очки и после обычного приветствия спросил:

— Скажите, пожалуйста, вас интересует духовная литература? Я имею вам кое-что предложить.

Медленно открывая зашнурованную сумку, гость продолжал:

— Это ценное слово, хлеб для души. Читающий не пожалеет...

В тот вечер я сидел до позднего часа и читал предложенные мне книжки. Казалось, посетитель знал мои сокровенные мысли, мои недоуменные вопросы и в этих книжках принес мне ответ. В них я нашел убедительные доводы в пользу живой, спасающей веры по Евангелию. Особое впечатление произвела на меня брошюра Л. Д. Муди «Покаяние и примирение». Он писал о переживаниях верующего человека, которые мне не были известны. Поэтому я, отыскивая места Писания, сверял тексты в моей Библии и удивлялся, что до сих пор

их не замечал, хотя и читал Библию. В сердце проник стих: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». А кто же, собственно, я? Верующий или неверующий? Этот вопрос неотступно преследовал меня, и я желал найти точный ответ.

Жене не нравилось мое увлечение духовными вопросами, они забирали много времени. Волнуясь, она не раз повторяла:

— Не к добру это дело. Кому оно нужно?

— Мне нужно! Моей душе нужно! Я должен проверить себя по Слову Божьему и узнать, какой же я верующий? Вот из Евангелия я узнал, что и «бесы веруют», и знают, что Бог есть, знают также, что Христос умер за грешников и воскрес, а что толку, если бесы эти Богу противятся? Может, и я — просто лицемер. Обмануть себя можно легко. И назвать себя можно как угодно, а вот я вижу, апостолы говорят иначе: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы», — оправдывался я перед женой.

На следующий день, возвратившись с работы, я встретил в моей комнате вчерашнего знакомого.

— Ну, как книги? — спросил он, вступая первым в разговор. — Понравились?

— Такие книги не могут нравиться или не нравиться. С ними можно согласиться или не согласиться, — ответил я.

— И как же, согласились?

— Почти! Но у меня в связи с этим возникли вопросы.

— А мы их разберем, если хотите. Библия на них ответит, а Бог поможет уяснить. Ведь Господь все

предусмотрел и ничего не упустил из того, что нам нужно знать о спасении души.

Но прежде чем начать беседу, он открыл Евангелие и прочел:

— «Без Меня не можете делать ничего». Так сказал Христос, — добавил он. — Поэтому прежде чем начать беседу, хорошо было бы помолиться.

Я охотно согласился и хотел выйти из-за стола, чтобы стать перед иконой, что сиротливо висела в углу комнаты, но мой знакомый, встав, уже начал молиться:

— ...Боже, Духом Святым открой наш ум к разумению Писания...

Сердечность и простота его молитвы произвели на меня исключительное и невыразимое впечатление. Я почувствовал, как молитва расположила мое сердце к принятию евангельских истин.

И все-таки наша беседа не была вполне мирной. На многие вопросы мы имели разные взгляды.

— Согласиться, что такие люди, как преподобный Серафим, подвижник Саровский или Иоанн Кронштадтский, непогрешимые святые, вдруг способны были ошибаться и заблуждаться? Нет! Этого я никак не могу допустить, — возражал я.

— Что же для вас авторитетнее: человек, пусть даже святой, или Бог? Предания людей или Евангелие Христа, Слово Божие? — спрашивал знакомый.

— Конечно, Евангелие!

— Тогда послушайте еще раз, что говорит Евангелие.

Он читал тексты и целые главы, отвечающие ясно и определенно на все мои вопросы. Но ни убедитель-

ность Слова Божьего, ни наглядные примеры, приводимые собеседником, не могли рассеять укоренившегося мнения об иконопочитании, о молитвах за умерших, о церковных формах и обрядах.

— Это остатки иудейства и язычества! Человеческие выдумки! — утвердительно настаивал знакомый. — В новозаветной первоапостольской церкви мы ничего этого не находим. Вот Евангелие, вот Деяния апостолов! Найдите мне хотя бы одно основание — и я немедленно соглашусь с вашими доводами, откажусь от своих убеждений...

Действительно, мне было о чем подумать. Я признавал Евангелие как Божье откровение и в то же время ему не доверял. Отсюда пришло сомнение в достоверности происхождения так называемого «нерукотворного образа» Иисуса Христа. Не нашел я в Евангелии истории о том, как Иисус Христос при восхождении на Голгофу вытер пот с лица и на полотенце отпечатался Его образ.

«На самом деле, — думал я, — почему же ни один евангелист не упоминает об этом? Разве это маловажный факт? Разве такое событие могло быть незамеченным учениками? Разумно ли поэтому основывать верование на преданиях и сказаниях человеческих, пренебрегая Писанием? Не об этом ли говорил Христос иерусалимским книжникам и фарисеям: „За чем вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?“ И еще: „Вы устранили заповедь Божию преданием вашим“; „Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?“ Не лучше ли поверить слову Евангелия и принять

его так, как оно написано? А сколько таких преданий живет в народе! Не отсюда ли все наши заблуждения и ошибки?»

Интерес к Евангелию возрастал у меня с каждым днем. Теперь я читал не страха ради, а ради хлеба жизни, читал его с каким-то особенным желанием, как будто в первый раз, чтобы проникнуть в сокровенный смысл простых Христовых изречений. Вот Он, Небесный Учитель, говорит самарянке у колодца Иаковлева: «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Так проходила неделя. Рождались новые вопросы, новые сомнения.

118 Вечером 13 августа мой новый знакомый посетил меня снова. На этот раз мы говорили о роли православия в русской государственности. Этот вопрос удерживал меня от принятия Истины.

— Нельзя же не признать факта, что православие способствовало собиранию Руси, укреплению и росту русского государства. Как же теперь можно от него отречься? — спрашивал я собеседника. — Это наши исторические корни...

— Правда! — отвечал он спокойно. — Факты сами за себя говорят. Религия связывает людей воедино, тем более христианская. Она играла положительную роль в утверждении национального самосознания русского народа. Но есть и другие факты. Спустя тысячелетие это же православие сыграло немаловажную роль

в разложении этого же государства. А как? Отходом от истины Христовой. Вспомните, что народ говорил о священнослужителях? И это были не анекдоты, а горькая правда! Разве своей жизнью духовенство не отвергало учения Христа? Не отсюда ли пошли ростки безбожия? Ведь и мы должны были у них учиться. Америка, например, обошлась без православия, — продолжал собеседник, — а смотрите, какой прочный фундамент заложен! Свободолюбивый, справедливый, истинно евангельский...

Эти и подобные им высказывания обижали мои патриотические чувства и настраивали меня против собеседника.

— Я ценю славные исторические страницы моей Родины, а они связаны с верой моих предков, — горячился я, чтобы закончить разговор.

— Почему вы говорите о «славных» страницах только? А куда девать «бесславные» страницы? А они есть, и их немало... Их не вычеркнешь. А потом, если «славная» вера предков не дает лично мне нужной силы, чтобы побеждать грех, если не приносит мира душе, не дает уверенности в спасении, тогда для чего она мне нужна? — закончил уходивший знакомый в коридоре.

Эти слова легли в основу моих размышлений в тот вечер.

Однако я заранее уже решил, что хотя взгляды евангелистов хороши и правильны сами по себе, но для меня лично никак не подходят. Я молодой человек. А у них извольте: выпить — грех, закурить — грех, веселая песня — грех... Не для меня это.

Был поздний час, а впечатление от последней беседы меня не покидало. Думалось: неужели тот путь, которым я теперь иду, не приведет меня к спасению? Совесть мне подсказывала, что Бог не может удовлетвориться моей греховной жизнью, да и жизнью всех моих единомышленников. Уж слишком много мы любим и делаем того, что противно Богу и что противоречит духу Евангелия. В воскресенье утром зайдешь в церковь, перекрестишь лоб, а вечером сидишь у патефона, за рюмкой водки с бесшабашной песней, будто и нет Христа и не было Голгофы, будто все так и надо. Где же христианский идеал? Где святая жизнь, где цель, где подвиг?

В тот вечер мне ничто другое не шло в голову. «Мой собеседник, — думал я, — не пустобай, не „уговорщик“. Он не подслащивал своих слов. Он поставил передо мною весьма серьезные вопросы, и я должен разрешить их во что бы то ни стало».

Я лег спать, но мысли продолжали работать в том же направлении: «Неужели эта маленькая кучка людей, называющих себя евангелистами, стоит на истинном пути, а подавляющее большинство людей ошибается?»

Мне припомнились слова Христа, прочитанные вечером: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Значит, согласно Писанию, истина будет принята немногими людьми и подлинных последователей Христа будет немного. А большинство — кто они? Духовные мертвецы? Лицемеры? Безбожники? Значит, мое заключение, что

правда определяется большинством, в корне противоречит словам Христа: «немногие находят...»

Потом мне припомнилась молитва собеседника. Он, евангелист, благодарил Бога за спасение своей души от гибели и за вечную жизнь, которую он получил во Христе и имеет уже сейчас.

Вот этого я никак бы не мог сказать в моих молитвах. Как можно говорить о том, что я спасен, когда я в этом не уверен? Знать о том, что Бог простил и принял меня, было бы для меня ценнее всего на свете. Но возможно ли это? Нет, я не могу остановиться на полпути. Я пойду дальше. Я буду искать полной истины и не успокоюсь, пока не найду ее, — твердо решил я в душе.

Было далеко за полночь, когда я снова поднялся с кровати, подошел к иконе и пал на колени.

— «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его», — читал я шепотом молитвы. — «Верую в Единого Бога, Отца Вседержителя».

Жена проснулась и с горечью сказала:

— Ну, милый дружок, довольно!.. Завтра твоему «пророку» дверей не открою... Нечего мутить тебе голову!

— Спи спокойно, — ответил я. — «Пророк» завтра к нам не придет. Я сам к нему пойду. Он порядочный, серьезный человек. Вопрос, который он пробудил в моей душе, очень серьезный, решать его надо и тебе, и мне.

Бессонная ночь казалась долгой и томительной. Вот и августовское утро, солнечное и красивое. Через открытое окно врывается ветерок, доносится щебетание птичек. Суббота. Мне не нужно идти на работу.

Но и это меня не радовало. Я решил пойти к старому и близкому другу, человеку бывалому, рассудительному, честному, и обо всем ему рассказать. Ему я всегда доверял, с его мнением считался. Но этого не довелось мне сделать.

Друг мой жил на окраине города, в тиши вишневых садов, в верстах пятнадцати от моей квартиры, и я поехал к нему на велосипеде. У моста дорога шла в гору, и я слез с велосипеда. Взад и вперед сновали машины, противно дребезжали неуклюжие мюнхенские трамваи. Город, как разрытый муравейник, шумел, гудел и суетился. Разбитые и полуразбитые дома, обгоревшие сады, камнем выложенные берега Изара, шум водопада — неприглядные картины чужого города еще более навевали грустные думы о моем прошлом, безысходном настоящем и неизвестном будущем. Вспомнил родную деревню — и тоской наполнилось сердце. Русские люди-односельчане, мои простые отзывчивые земляки, где вы сегодня? Знаете ли вы, что я жив, да, жив, да что толку? Вот и в войне уцелел, а почему я так несчастен? А что такое счастье? В чем оно заключается? Сегодня счастлив, а завтра — беда. Да был ли я счастлив, живя на Родине?

Никогда!

В эту минуту я увидел на тротуаре окурочек папиросы с концом, окрашенным губной помадой. Нестерпимо захотелось курить, мутило в голове. Несколько дней прошло с тех пор, как решил (не первый раз) покончить с курением, но вот... как удержать себя от соблазна? Затынаться бы разок, чуточку... На душе легче стало бы.

Осмотревшись кругом, я нагнулся и поднял окурок. Началась знакомая мне борьба двух духов. Я видел в себе самом два человека, противоборствующих один другому. Кто из них победит? На чью стану я сторону?

Этот, как будто бы незначительный случай, открывал передо мною великую истину. Ища спички по всем карманам, я разговаривал сам с собой:

— Тряпка ты, а не человек... Решаешь мировые проблемы, а свою личную, маленькую проблему не можешь решить. Говоришь, мелочь? А людей не постеснялся, поднял окурок. Говоришь, у меня сила воли... А вот прикуриваешь и будешь наслаждаться окурком какой-то, может быть, больной уличной женщины...

К счастью, спичек в кармане не оказалось.

— Врешь, — сказал я сам себе и притом так громко, что мне самому стало неловко. — Не обманывай сам себя и не говори, что ты — человек, верующий в Бога Всемогущего, — упрекал я сам себя. — Что же это вера твоих предков не помогает тебе одержать победу над такой мелочью, как табак? А что же тогда говорить о другом, более серьезном? Зачем нужна тебе такая вера? Жить и постоянно грешить можно и без веры.

В этот момент я изменил свои планы. Решил поехать на евангельское собрание. Адрес был в кармане. По дороге я растирал пальцами окурок так медленно, но настойчиво, будто совершал над ним казнь. Табак с бумагой крошились и падали на мостовую.

К четырем часам я был во дворе молитвенного дома. Из серого придавленного к земле здания доносилось стройное пение:

Я слышу голос Твой,
Зовет меня к Тебе:
Омыться кровию святой,
Пролитой на кресте.

«Не меня ли зовет этот голос? Зовет ко кресту Христа, зовет к вере, к новой жизни? Не покончить ли здесь с моим душевным разладом?» — спрашивал я себя.

А когда я открыл двери и сел на последнюю скамейку, в душе началось прежнее борение двух духов. Один говорил: «Беги отсюда. Зачем ты здесь? Кто поймет тебя и кто поможет?» А другой: «Куда пойдешь? Спешить некуда. Посиди да послушай. Что ты теряешь?»

И я остался на собрании.

124 Проповедь, пение, молитвы — все показалось мне необыкновенным. Особое, волнующее впечатление произвели на меня молитвы верующих: тихие, сердечные, простые, сдержанные.

После собрания меня приветствовали как хорошего знакомого, хотя я никого не знал. Чувствовалось, что у меня чего-то не хватает, чтобы петь вместе с этими людьми:

Лучший Ты мне дал удел,
Чаять я его не смел.

О каком лучшем уделе они пели? О какой радости они говорили, когда кругом житейский развал, опасности репатриаций, страшная, вопиющая нужда?

Вдруг ко мне подошел мой знакомый и, безмятежно улыбаясь, сказал:

— Рад вас видеть! Как дела, друг?

Но, заметив на моем лице отпечаток внутренних переживаний, спросил:

— Не заедем ли сегодня ко мне?

Я согласился.

Час спустя мы сидели в уютной маленькой комнатке.

— Господь обещал быть там, где двое или трое собраны во имя Его. Он так сказал, и мы верим, что это так. Он будет сегодня с нами, потому что тема нашей беседы — Его Слово, Евангелие, — начал знакомый.

После краткой молитвы он предложил мне прочитать вслух 3-ю главу Евангелия от Иоанна, где описана встреча Христа с Никодимом.

— «...Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть дух. Должно вам родиться свыше».

Я читал эти слова раньше, но никогда мои мысли не были захвачены ими так проникновенно и глубоко, как в этот день. Теперь я видел в них верный ключ к познанию Божьей истины о спасении.

«Должно вам родиться свыше» — слова Христа, сказанные Никодиму, звучали для меня в то время непостижимой тайной. Я знал, что самого необходимого — рождения свыше — во мне не произошло. А что это значит? Не потому ли после сожаления о соделанных грехах я так скоро возвращался к ним снова?

Мы разговаривали на эту тему долго. За окном был летний вечер, тихий, теплый, ласковый. Тишина располагала к раздумью, беседа не утомляла.

— Теперь нам осталось поблагодарить Бога за Его Слово, из которого мы учились, получали наставление. Согласны? — спросил друг.

— Да, мне есть за что благодарить, — ответил я.

Он стал на колени первым. Его примеру последовал и я. Прочувственная молитва моего друга, казалось, поднимала меня от земли. О, как хотелось и мне молиться! А что я мог сказать Богу, невидимо присутствующему с нами? Он так много для меня сделал, оберегал жизнь, заботился о моей семье, а я по-прежнему живу во грехах, по-прежнему Его оскорбляю...

Как наяву, передо мной предстала Голгофа, а на ней крест и Христос, распятый за меня, за мои грехи... Ведь за меня и ради меня страдал Христос...

— Господи, Иисусе Христе! Прости! — воскликнула я.

Первый раз в моей жизни я оставил в стороне заученные молитвы. Теперь молилось мое сердце.

Из-под закрытых век слезы нашли себе дорогу, в горле стоял какой-то ком. Я чувствовал, что Христос здесь, со мною рядом. И слова молитвы, рождаясь в душе, горячим потоком лились сами:

— Я пришел к Тебе, Господи, такой, как есть. Я убедился, что ничего во мне нет доброго. Смилуйся надо мною, Боже, возьми меня и спаси от грехов моих, которые я ненавижу. Я не хочу больше грешить. Прости и возроди, как Ты говорил Никодиму. Или погуби на этом месте. Иначе я не смогу жить...

Не помню всех слов, с которыми я обратился ко Христу в тот вечер, 14 августа 1948 года, но одно помню хорошо: Бог ответил мне на том же месте.

От сердца отвалился тяжелый камень. Будто стопудовая ноша спала с моих плеч — и радость, настоящая, живая, невыразимая, наполнила все мое существо:

— Господи, благодарю Тебя! К Твоим ногам приношу мое сердце! Ты видишь, оно полно теперь радости!

После молитвы я встал с новыми чувствами, новыми мыслями, новыми желаниями и целями.

Мой друг, а теперь и дорогой брат в Господе, улыбаясь, сказал мне сквозь слезы радости:

— Ангелы ликуют в эту минуту! Пастырь радуется, когда заблудшая овечка возвращается в Его стадо.

— Да, брат, долго пропадал я и вот теперь нашелся, — сказал я, припоминая евангельскую притчу о блудном сыне.



НОВЫЙ человек

Итак, кто во Христе, тот новое творение;
древнее прошло, теперь все новое.

2 Кор. 5:17

Новый человек — это не то, что старый: сегодня тот же, что был вчера, и завтра тот же самый — суетливый, нервный, подозрительный, поработанный грехами. У нового человека — все новое. Он сам новый, будто вновь народившийся, окрыленный небывалой радостью и счастьем.

Такое чувство наполняло мое сердце, когда я, протившись с моим новым другом, ехал домой на велосипеде.

«Боже мой, и воздух не тот, и земля не та, и небо не то! Даже велосипед не тот — стал легким и послушным. Он без особых усилий поднимает меня на холмистую улицу перед Восточным вокзалом», — так размышлял я на пути к дому.

Хотелось громко, во весь голос петь, петь от души, прославлять Бога радостной песней о новой жизни. Но таких песен я еще не знал. Я не знал наизусть ни одного благодарственного псалма, а когда наплыв радости переполнил мое сердце, я воскликнул двустихием:

О радость! Могу я, могу я

Пропеть всей душой: аллилуйя!

Такими словами начиналось мое первое стихотворение во славу спасающего живого Бога. Оно положило

начало ряду стихов, изданных позднее отдельными сборниками: «Радуга», «На рассвете», «Голубой родник».

Темно-голубое, бездонное небо показалось мне в тот вечер ближе и роднее, будто я только что пришел откуда, где ликуют звезды, где величественно и молчаливо светит луна.

«А кто же я, человек, перед лицом такого великого и Всемогущего Бога, знающего имена всем небесным светилам, управляющего бесконечной Вселенной? — думал я о себе. — Кто я? Червь, трава, пустоцвет. И вот такой великий Бог имеет теперь дело со мной, недостойным милости грешником».

О любовь, великая, святая,

Сердце — воск в огне небесном тает...

В душе рождались строчки новых, незаписанных стихов.

Это небо с серебристой луной и золотыми звездами, эта земля с ее богатыми садами, лугами, лесами, реками, этот чудный воздух — все для меня, для человека, чтобы я жил в радости и благодарил Бога. Все для человека. А для кого же человек? Сам для себя? Когда же он поймет свое назначение?

«Нет, отныне я буду жить с Богом и только для Бога. В этом цель и смысл жизни», — размышлял я на пути к дому.

Рядом, у мостовой, на одной из главных улиц миллионного города лежали груды кирпича и мусора, остатки больших домов. Все это — «плоды» рук человеческих, когда ими пользуется не Бог, а сатана. Совсем недавно здесь возвышались красивые дома, а сегодня — руины

с неприятным, сырым, известковым запахом. Несмотря на вечерний час, люди, как неприкаянные, сновали по слабо освещенным улицам города. У театра толпилась шумная очередь. Из раскрытых дверей пивных доносились гортанные звуки американской речи. Там веселились солдаты оккупационной армии. Вблизи промышляли уличные женщины. Вот и парк. В нем много обгорелых деревьев без листьев, с почерневшими стволами. Они выглядели чахоточными: на отдельных ветках настойчиво пробивалась к жизни молодая зелень. Сырой воздух парка напоминал кладбище. У главной аллеи электрические лампочки бросали бледно-желтый свет, скупо освещая небольшую платформу с рядами столов. На пригорке, где было больше света, уселся оркестр.

130 По шумной, многолюдной улице я ехал тихо. Мрачные картины вечера еще больше отталкивали меня от земли. Хотелось тишины, уединения. Но, как из-под земли, вырос лысый желтолицый дирижер. Он взмахнул палочкой, и барабанщик дробно застучал по барабану. Немцы, желая угодить американцам, явно приспособились к джазу. Завыли саксофоны, заревели трубы. Потом все оборвалось, только тромбонист продолжал выводить низкую замирающую ноту, всхлипывая, как раненый зверь.

Первый раз в моей жизни джазовая музыка вызвала дрожь по всему телу. С тех пор я ненавижу джаз и боюсь его, как врага. Я готов был закрыть уши, чтобы не слышать этих страшных, будто предсмертных завываний. Мое сердце желало иных мелодий, иной музыки, иных

звуков, в которых бы отражалась тихая, святая, небесная радость, ибо радость в Господе не имеет ничего общего с мирской, языческой радостью. А ведь только вчера я любил танцевать до головокружения, «до упаду», но теперь смотрел на танцующую публику с отвращением и жалостью.

Между мной и миром легла непроходимая пропасть. В ту минуту мне очень хотелось громко крикнуть, крикнуть так, чтобы слышала вся эта шумная улица, весь город, весь мир: «Люди, люди! Добрые, хорошие люди, уцелевшие в страшной, кровопролитной бойне! Что же вы делаете? Давно ли вы прятались в бомбоубежищах, дрожали от страха, судорожно крестились, призывали на помощь Христа, „Заступницу усердную“, всех святых? А что же вы делаете сегодня? Теперь, значит, и Бог не нужен. Или нужна снова война, чтобы вы подняли очи к небу? Братья-люди! Добрые, хорошие люди! Мы уцелели. Так воздадим же славу Богу. Возрадуемся и возвеселимся сердцем, душою. Возблагодарим Его за спасение. Христос жив! Крест, на котором распяли Его люди, пуст. Он спас меня сегодня. Он спасает каждого, кто к Нему приходит с раскаянием. Так перестаньте же шаркать ногами по пыльному полу. Перестаньте под визг джаза трястись, как в лихорадке. Призовите имя Иисуса в это доброе время так же искренне, как это мы делали в бомбоубежищах. Христос даст иную радость. Он даст новую песню. У оркестра будет новый репертуар...»

Но люди меня не слышат. Джаз участил барабанную дробь, а басовая труба ухала по-прежнему, словно мне отвечала: «Нет, нет, нет...»

И вот тогда родилось в моей душе желание пойти из дома в дом, из деревни в деревню, из города в город и рассказать всем о Евангелии, о Христе, о Его Божественной любви к бедному, несчастному человеку, о Его страданиях на кресте за грехи мира.

«Я пойду расскажу, как Он нашел меня, как Он простил меня, как сделал меня счастливым», — говорил я сам с собой.

Но в это время появилась другая мысль: «Как ты пойдешь? Ты не можешь. У тебя жена, ребенок. Кто же им даст кусок хлеба?»

В это мгновение на серой асфальтовой дорожке, перед моим велосипедом, я увидел булку хлеба...

О, чудо! Как просто Бог может отвечать на наши вопросы!

Я остановил велосипед, взял хлеб и здесь же, на улице, не обращая внимания на случайных прохожих, возблагодарил Господа:

— Мой добрый Пастырь, если этот хлеб послан Тобою как ответ на мои мысли, то я отдаю себя еще раз в Твои руки и прошу: содейлай меня свидетелем Твоим и вложи в уста мои Твое Слово... Я пойду, Господь, на Твое дело, только Ты будь всегда со мною.

Теперь, много лет спустя, я свидетельствую о Его верности. Он был со мной, был впереди меня. Он будет и впредь со мной, если только я буду с Ним. Он не оставит, не покинет Свое чадо, если чадо не покинет Его.

С особым, непередаваемым чувством радости открыл я двери моей комнаты. Жена сидела у открытого окна — грустная, взволнованная, недовольная.

— Опять пьяный? — встретила она меня вопросом. — Утром стоял на коленях перед иконами, а вечером кланяешься Бахусу? И тебе не стыдно? «От великого до смешного — один шаг».

— Нет, дорогая, — сказал я, положив на стол булку хлеба. — На этот раз ты ошиблась. Видишь этот хлеб? Это не простой хлеб, а небесный. Бог послал. И я теперь не тот... Того Николая, что ты знала утром, нет. Он умер...

Большое окно нашей комнаты выходило на широкую улицу, усаженную вековыми деревьями. За окном было тихо и свежо. Я смотрел на сад новыми глазами. Сердце наполнялось молитвой к моему Спасителю. И прежде чем продолжить разговор с женой, я предложил помолиться. Я склонил колени перед раскрытым окном и молился моими простыми, незаученными словами. Рядом стала жена. Мой маленький сынок, видно, недоумевал, что случилось с папой, и по примеру родителей стал также на колени. Это была наша первая семейная молитва за четыре года нашей совместной супружеской жизни.

Я благодарил Бога за Его дар спасения, за любовь, за прощение. Молился я и о жене, моей верной спутнице, чтобы Господь открыл ей Свое спасение. Это, видно, ее смущало больше всего. После молитвы она выразила сомнение в здравии моего ума и плакала.

— Правильно, правильно, подруга, — говорил я, радуясь. — Верно, я стал «ненормальным» для мира. Но зато я теперь стал нормальным для Бога. Так всегда бывает. Иначе и быть не могло. Значит, я на правильном пути...

Потом я объявил войну предметам явного непотребства и нечистоты (Гал. 5:19). Я выбросил в окно

серебряный портсигар, пепельницу и все запасы табака, дорогого «продукта» в то послевоенное время. Выбросил я и все водочные рюмки. Я знал, что они мне больше не пригодятся. Выбросил я завалывшиеся карты и многое другое, что связывало меня и господствовало надо мною многие годы.

Видно, все это нравилось жене, и она, улыбаясь сквозь слезы, сказала:

— Дай Бог, чтобы это было навсегда!

Да, это было навсегда, на веки веков.



Крещение

Крещением должен Я креститься.

Иисус

Воскресенье утром я проснулся раньше обыкновенного. События вчерашнего дня стояли в моей памяти отчетливо и ясно. Как никогда ранее, я ощущал близость Господа, и потому мне хотелось молиться. Молитва приносила мне особую радость.

По обыкновению, я пошел в православный храм. Меня не привлекали ни кадильницы, ни иконы, ни восковые свечи, ни бархатный голос дьякона, ни золотые одежды священника. Нет, меня влекло к живым людям, чтобы делиться радостью спасения. Казалось, так просто поверить и принять живого Христа в сердце, поверить в Него как личного Спасителя. Ведь это всем доступно. Главное, мне хотелось поговорить с митрополитом Анастасием. Службу «отстоял» я непринужденно. Но обрядовая сторона богослужения, как никогда раньше, казалась мне далекой и непонятной.

После богослужения у дверей храма, там, где продавались свечи, шла бойкая торговля сигаретами. Когда я заметил, что торговля сигаретами при храме, притом нелегальная, — нехорошее, нехристианское дело, староста мне возразил:

— А ты кто такой? Баптист, что ли?

Аудиенции с митрополитом Анастасием я так и не дождался. Он был очень занят. Утешался надеждой, что

через знакомого священника В. мне удастся поделиться моими переживаниями со всем приходом.

В тот же день, после обеда, я был на евангельском богослужении. Большой зал молитвенного дома наполнялся новыми для меня людьми. Это меня не смущало, так как в каждом я видел теперь моего брата, единоверца. Трогательно и задушевно пел хор, пел так, как поют наши русские люди, вкладывая в песню все сердце, всего себя. Меня особенно захватил духовный гимн, слова и напев которого как нельзя лучше отражали мои переживания:

О Господь, Спаситель мой,
Льну к Тебе я всей душой.
Я хочу с Тобою жить,
Я хочу в Тебе пребыть.
О, пребудь во мне Ты Сам,
По Твоим веди путям,
Будь мне Пастырем-Царем,
Будь для сердца все во всем.
Без Тебя я был в цепях,
А с Тобой освобожден.
Без Тебя тонул в волнах,
А с Тобою я спасен.
Без Тебя я был покрыт,
Как проказою, грехом,
А с Тобою я омыт,
Убелен Твоим ручьем.

Этот гимн переполнял мое сердце невыразимой радостью до краев. Ведь это моя песня, мои слова. С той поры этот гимн стал моим любимым до сего дня. И даже

теперь, когда я в глубокую полночь пишу это свидетельство, до меня доносится звучание этих слов откуда-то издалека и мое сердце радостно им подпевает:

Без Тебя в душе царит
Роковой печали гнет,
А с Тобой и в дни невзгод
Сердце радостью горит.

Великое счастье — иметь в сердце живого спасающего Бога!

Помню, как выходил я рано на работу. На безлюдной улице еще царила тишина. Во многих домах еще не зажигались огни, но голубой рассвет красил восток нежными светозарными красками. «В том краю моя родина, мой народ, мои родители, — представлял я себе. — Ах, если бы можно было поехать к ним, рассказать им о Христе, о Божьем пути спасения! Они бы поверили! Они бы не усомнились, как другие, в моей искренности». Но по условиям времени это невозможно. И я знал, что мне остается одно: молиться. И каждое утро, по пути к первому утреннему трамваю, я заходил в парк, становился на колени и возносил мою молитву Господу о родине. С той поры молитва о родине, о моих родных и близких, стала частью моей жизни. На эти молитвы я получил уже много ответов.

В парке, на коленях перед Господом, я получал духовное и физическое подкрепление на весь трудовой день.

А работа была у меня каторжная, тяжелая, непосильная. Я подносил строительный материал для кладки стен кирпичных домов. Только таким путем во время безработицы в Германии я мог зарабатывать на

дневной хлеб для моей семьи. Когда я уставал, я пел песню о любви Христовой на свой особенный, неподражаемый мотив, пел тихо, для себя, но Бог слышал эти песни и давал мне все новые и новые слова, которые печатались после во многих христианских журналах. Песня от души, хвала Богу — лучшее средство побеждать усталость.

А вечером ко мне неизменно приходил мой сосед, брат по вере Митя Терешкевич. Он вытаскивал из кармана маленькую губную гармошку, бережно вытирал ее платком и вкладывал ее в свои большие мясистые губы, так что гармошки почти не было видно, и начинал мастерски, с большим умением наигрывать новые, никогда мной не слышанные мелодии евангельских гимнов. Это был простой, доверчивый, как дитя, почти неграмотный брат, но через него Господь посылал мне богатые благословения.

— Эх, браток, если бы ты знал, как я люблю Иисуса... — говорил он мне, прерывая свою искусную игру. — Никого у меня нет ближе, чем Он. Когда я был на родине пастухом, меня и за человека никто не считал, а теперь Сам Бог меня Своим сыном величает. Давай, брат, помолимся...

— Татусько мий, поблагослови моего брата Миколая. Ты знаешь, Боже, как я его люблю...

Брат Митя молился и плакал святыми слезами. Плакал и я. Теперь я знал, что у меня есть братья, есть сестры, что на земле я не одинок.

Искренняя, простая и сердечная молитва брата Мити Терешкевича (он всегда молился по-украински)

зажигала и меня небесным огнем. Исчезала усталость, и мы молились и пели обыкновенно до полуночи.

Молиться Христу, когда чувствуешь Его близость, вовсе не утомительно и не скучно, как могло мне казаться раньше. Наоборот, в живой молитве — сила, радость и утешение. А это как раз мне и нужно было, нужно и теперь.

Прежние друзья меня не узнавали. Да я и сам себя не узнавал. Уже на следующий день я не мог терпеть табачного дыма. Когда по привычке входил в последний, курящий, вагон трамвая, меня мутило от дыма баварских сигар и я при первом же случае переходил в следующий вагон. Когда прежние друзья мне настойчиво предлагали закурить (что не всегда бывало раньше при дорогой цене на сигареты), я отвечал:

— Сигарета — это атомная бомба. Не просите, я не закурю...

— Ну, ну, посмотрим, что ты запоешь через недельку, — говорили недоверчивые друзья.

Еще острее и чувствительней проявилось во мне отношение к алкоголю, в постыдном рабстве которого я был многие годы. Неприятный спиртной запах и поныне вызывает у меня тошноту и отвращение.

Евангелие я видел теперь в ином свете. Приходилось только удивляться, как я раньше этого не замечал. В 7-й и 8-й главах Послания апостола Павла к римлянам я видел мои собственные переживания. Бог освобождает кающихся рабов греха и дает им святую свободу. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36) — закрепил эту истину навеки мой Небесный Учитель.

К моему свидетельству об исцелении и спасении люди относились подозрительно и осторожно. Присматривались к моей жизни, к моим поступкам. Некоторые уже называли меня евангелистом, другие — баптистом. Я имел радость и мир с Господом, и этими переживаниями мне хотелось делиться с другими. К сожалению, многие меня не понимали. Одни слушали с недоумением, другие недоверчиво качали головой и уходили.

«Угорел человек», «продался баптистам», — слышал я от многих.

Каждый день один за другим оставляли меня друзья. Доктор В., близкий мне человек, расценивал мой поступок как безумие или как измену своей родине, своему народу, самому себе.

Жена знакомого художника К., знавшая хорошо мою прошлую жизнь, во время беседы заявила:

— Ты распял Бога, Который тебя спасал. Почему больше не куришь? Почему отказываешься с нами выпить? Думаешь, ты лучше нас? Изменник ты. А я православной родилась, православной и умру...

— Разве вы православная? — спросил я. — За два с лишним года я ни разу не видел вас в церкви. Как же это?

— Ну и что ж? Я не молюсь и в церковь не хожу. Лицемерить не умею. Для меня Христос — это миф, но я все равно православная. Мою веру и за миллион не продам. А деньги нужны, очень нужны. А вот ты продался... И еще вот сидишь, не плачешь, а улыбаешься...

Большое подкрепление от Господа я получил через живые, убедительные и глубокие по содержанию про-

поведи Иоанна Марка (Галустьянца). Он первый толкнул меня на мысль о вступлении в завет с Господом через водное крещение. Ведь это заповедь Христа.

Это побуждало меня еще раз внимательно прочесть Новый Завет. Я убедился, что в плане Божьем детокрещение не было предусмотрено. В Библии нет для этого оснований. Единственное сомнительное место — события в доме Корнилия по описанию Луки — стало мне ясным, когда я выписал из Евангелия все слова, относящиеся к крещению. Что может быть авторитетнее простой заповеди Христа: «Идите, научите все народы»?! (Мф. 28:19). И только потом уже идет речь о крещении. Для меня это был серьезный вопрос: что важнее — научить, а потом крестить, или сначала крестить, а потом научить? Очевидно, крещению должна предшествовать вера.

Апостол Петр подтверждает эту истину, когда говорит о крещении как об обещании Богу доброй совести (1 Пет. 3:21). Да и сама логика подсказывала мне, что надо сначала научить, а потом крестить. Крещение — волевой акт, вполне сознательное дело.

Даже в евангельских церквах, где практикуется крещение только взрослых, бывает много случаев, особенно в последние времена, когда вступающие в завет с Господом через водное крещение делают это не вполне сознательно, не с полным сердцем, оставаясь невозрожденными от Слова и Духа Святого. Эти люди потом отпадают, и этим самым они причиняют колоссальный ущерб Церкви Христа. Что после этого говорить о детях, о малолетних, о тех, кто еще не вступил в полосу

сознательной духовной жизни, кто еще не вкусил греха, не узнал, как он горек и ядовит? О них сказал Христос: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).

Мысль о крещении преследовала меня неотступно в течение нескольких месяцев. Окончательно она созрела после одного случая.

Однажды меня пригласили к обеду в православную семью. Это были влиятельные в православных кругах люди. Случайно в назначенное время хозяйки не оказалось дома. Ее больной сын лежал на кровати, и я начал с ним беседу. Он охотно слушал мое свидетельство об искании истины, делился своими переживаниями. Тем временем в комнату вошли два пожилых господина, очевидно, приглашенные. Они вступили в разговор и сразу перешли на духовную тему. Один из них, бывший полковник царской армии, человек весьма начитанный, оказался знатоком Библии, другой — членом Православного совета в Германии и видным политическим деятелем. Бледное, худое лицо его носило черты благородства, совершенно другое впечатление производили его глаза, тупо и зло глядевшие из-под толстых век.

Он вежливо попросил разрешения закурить. Жадно затягиваясь, курил одну папироску за другой, присматривался ко мне и о чем-то думал.

Говорили долго. Мой собеседник предлагал мне вопросы. Я охотно на них отвечал, что мне было известно, указывая на Писание как на единственный Божий авторитет, и терпеливо выслушивал моего нервного оппонента.

Это был настоящий диспут в присутствии двух слушателей.

— Бог предусмотрел пытливость человеческого ума, и потому на все жизненные вопросы Он дал ответ в Писании, — сказал я в заключение.

Мой знакомый протестовал:

— Вы плохо знаете церковную историю. Вы не знаете творцов литургии. Если бы вы это знали, вы убедились бы, насколько дополнено и расширено понятие «Священное Писание».

— Например? — спросил я.

— Вот вы говорите о крещении, что детокрещение — большая ошибка. А святой Киприан, епископ карфагенский, еще в третьем веке в своих творениях писал о необходимости крещения детей. А вы это отвергаете...

— Друг мой, — ответил я, — святой Киприан не является автором Священного Писания. Ведь его письма не вошли в канон Нового Завета...

— Как? Это было повеление свыше. И мы так делаем, — настаивал собеседник.

— Слушайте, что говорит Слово Божие о тех, кто его извращает и дополняет, — заметил я.

Здесь я имел неосторожность открыть Евангелие и громко прочесть: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, — да будет анафема» (Гал. 1:8).

Следующий стих из Послания апостола Павла к галатам я уже не мог прочесть. До сих пор молчавший бледнолицый гость стал вдруг красным, как кровь. В его глазах запылала дикая злоба.

— Ах, вот оно что!.. Ты — масон! Вон отсюда! — крикнул полным голосом взволнованный гость и одним толчком руки открыл мне двери. Из его уст неудержимо сыпались бранные слова. Да никто и не пытался его удерживать. Трудно было верить, что эти слова извергает один из духовных православных вождей — член Синода.

Я имел право протестовать, так как он не был хозяином квартиры, а только гостем. Но я предпочел оставить дом.

Обиженный и оскорбленный, я шел по улице большого чужого города и мысленно молился. Вспомнились слова Христа: «Меня гнали, будут гнать и вас»; «Ученик не выше учителя»; «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир».

Это меня утешало.

Теперь я понял, что с православием мне не по пути. В только что происшедшем я видел не что иное, как фараоновское ожесточение, наступление врага моей души. Это не разочаровало меня, а, наоборот, укрепляло в вере, что Христос — мой Пастырь, Он со мной и я с Ним. При всем моем желании я уже не мог оставаться в Православной церкви.

Я твердо решил просить братьев принять меня в евангельскую общину и во что бы то ни стало скорее вступить в завет с Господом через водное крещение, по Его заповеди.

Вскоре состоялась желанная встреча с моим хорошим знакомым священником В. Мы говорили долго, просто и непринужденно, как старые друзья. Читали отдель-

ные места Евангелия, рассуждали. Только к концу беседы начали обнаруживаться наши разногласия, когда я сказал:

— Отец В., вы меня простите, но я буду обращаться к вам, как к старшему брату. Вот, видите, написано, — и я прочел текст Евангелия: — «...Все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Ведь это Христос сказал, — подтвердил я.

Отец В. улыбнулся, посмотрел на меня своими умными глазами и проникновенным голосом сказал:

— Ишь ты, дружок, куда заехал... Знаю, куда метишь. Учить меня собираешься. Да я это Евангелие наизусть знаю. Зубы на нем проел. А ты внимательней прочти. О ком там говорится? Христос ведет речь о книжниках и фарисеях. Вот к ним это и относится. Не о нас, а о них это было сказано...

Я недостаточно знал Евангелие, чтобы сразу же опровергнуть доводы священника. А это так легко было сделать. Стоило только прочесть первый стих этой, 23-й, главы Евангелия от Матфея: «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим», чтобы увидеть, кому это было сказано.

Когда же через несколько минут я сказал, что из Евангелия видно, что ни апостолы, ни пресвитеры первоапостольской церкви не одевались в особые одежды, в которые священники теперь одеваются, отец В. начал заметно волноваться. Он нетерпеливо взял из моих рук Библию и без особых затруднений отыскал 28-ю главу книги Исход.

— Возьми, читай. Хорошо читай, — предложил он мне.

И я читал, как Моисей призвал Аарона и его сыновей и повелел им быть священниками. Моисей здесь же дал подробное указание на то, какова должна быть одежда священника.

Я возразил:

— Но это же относится только к иудейским ветхозаветным священникам. Это ведь все были прообразы нового времени. Эти одежды могли одевать только обрезанные, да и то не все, а только из колена Левия. А почему же вы не обрезываетесь?

— Мы не иудеи, — отвечал отец В.

— А как же со священническими одеждами? — настаивал я.

— Вот это, что ты прочел, к нам относится. Мы и шьем одежды по этим размерам, как сказал Моисей, — отвечал отец В. смущенно и заметно краснея. — Отложим нашу беседу до другого случая, — добавил он и по-отцовски положил руку на мое плечо.

Отец В. долго смотрел куда-то в сторону. Видно было, что он напряженно думал. Потом, не поворачивая головы, тихо, с грустью сказал:

— Если ты оставляешь нас по побуждениям души, да благословит тебя Господь.

— Но вы-то? — сказал я. — Вы же несете ответственность перед Богом, сознательно оставаясь на ложном пути.

— Да, да... Наша церковь нуждается в значительной реконструкции, — ответил он, не меняя тона. — Нам надо реформироваться. И чем скорее, тем лучше. Но ведь

я маленький человек. Что я могу сделать? Лишить себя куска хлеба. Вот и все.

С отцом В. мы простились по-братски, друзьями. Три года спустя я встретил его снова. Он направлялся в Америку, но его по неизвестной причине задерживала комиссия. Это его очень удручало. Мы рады были встрече. Я предложил помолиться, и отец В. охотно согласился. После нашей уединенной молитвы по впалым щекам отца В. прокатились две крупные, как бриллианты, слезы.

На прощание мы расцеловались.

* * *

28 ноября 1948 года был воскресный день. Обыкновенное в эти дни дождливое утро в Баварии сменилось солнечным, погожим днем. Казалось, солнце вместе со мною радовалось празднику моей души.

В этот день девять душ вступали в завет с Господом через водное крещение, в том числе я и моя жена.

На это необычайное торжество собралось множество народа, некоторые мои старые друзья и знакомые. Некоторых из них Господь позднее обратил на Свой путь.

Я отчетливо осознал, что это событие — единственное по своей важности и неповторимое в моей жизни. Оно налагало на меня великую ответственность перед Богом. Я обещал Ему служить в доброй совести всю жизнь. Вместе с погружением в воду наглядно, как прообраз, умирали я, чтобы жить новой жизнью во Христе Иисусе.

Медленно входил я в воду. Сердце наполнялось радостью, что теперь я могу открыто, при множестве народа,

во всеуслышание свидетельствовать об Иисусе Христе как о моем личном Спасителе.

— Брат Николай, веришь ли ты, что Христос вознес твои грехи на крест? — громко и отчетливо, но с явным армянским акцентом спросил меня брат Иоанн Марк.

— Верю! — ответил я.

— По вере твоей, во имя Отца, Сына и Святого Духа, крещу тебя, — произнес брат и энергично погрузил меня в воду.

— Аминь!

— Аминь! — повторил я брату Марку вслед.

— Аминь! — чудным хором пропело воинство на небесах.



ПОСЛЕДНИЙ ЗОВ

13 ноября 1950 года в узких пасмурных коридорах большой каменной казармы в Бремене стояла молчаливая очередь. Здесь были русские и украинцы, поляки и чехи, латыши и эстонцы, словом, люди «двунадесяти» языков. Очередь продвигалась быстро, оживленно работала канцелярия. Шла последняя проверка по переселению в Америку. Мы все уже были опрошены и тщательно проверены. У нас были сосчитаны зубы, исследована кровь, взяты оттиски пальцев, выявлено родство, национальность, происхождение и прочее. Назавтра предстояла погрузка на пароход.

Небольшая группа верующих евангельского исповедания воспользовалась этим случаем, чтобы каждому, отправляющемуся в дальний путь, вручить Евангелие на родном языке. У входной двери было поставлено два больших стола с книгами, брошюрами и Евангелиями. Каждый, получивший номер на пароход, подходил к нашему столу с радостью на лице. Наконец-то кончились проверки!

— На каком языке вы говорите? — спрашивали мы обычно по-немецки.

И, получив ответ, предлагали Евангелие и другую литературу:

— Вот вам в путь для полезного чтения. Обязательно прочтите. Это для вас важно. Особенно в чужой стране...

Запасы литературы подходили к концу. На наших столах уже почти ничего не оставалось, когда открылась

дверь и на пороге появился ксендз. Он бросил несколько Евангелий к моим ногам и решительным шагом подошел ко мне. Лицо его было искажено злобой, небольшие припухшие глаза налились гневом, дрожали руки. Казалось, он был невменяем.

— Кто вам разрешил раздавать коммунистические книжки? — спросил он в упор.

— Какие книжки? — переспросил я. — Мы раздаем Евангелие Господа нашего Иисуса Христа.

— Это московская пропаганда, а не Евангелие! — кричал полным голосом ксендз с явным намерением обратить внимание толпившихся людей.

— Безбожники! — неистовствовал ксендз, за спиной которого стоял лагерный полицейский.

Прискорбно было слушать эти слова из уст священнослужителя.

— Кто вам разрешил раздавать людям эту гадость? — допрашивал ксендз, нисколько не угашая своего пыла.

— Начальник лагеря, — ответил я и назвал его имя.

— Хорошо, — сказал полицейский, обращаясь к ксендзу. — Пойдем узнаем...

Маленький, толстенький ксендз повернулся, словно по команде, и, мелькая накрахмаленным воротничком на фоне толстой покрасневшей шеи, затерялся в толпе любопытных.

Больше я его не видел.

Но через минуту к нашему столу подошел черноволосый молодой парень. Он небрежно бросил Евангелие на стол, которое мы ему только что дали, и пробурчал:

— Фанатики! Дурманите людям головы...

Я посмотрел на молодого парня с красивыми, выразительными чертами лица, и чувство глубокого сожаления наполнило мое сердце. Хотелось сказать ему вослед: «Вернись, возьми эту спасающую книгу!»

Утром в барачном общежитии загорелись огни раньше обыкновенного: люди готовились к отправке на пароход. У всех настроение приподнятое, веселое — впереди мерещилась богатая долгожданная Америка.

Собираясь в дальний путь, люди очищали свой багаж, ненужные вещи выбрасывали в бочки, расставленные по коридорам. В бараках стоял оживленный говор, беспрерывно хлопали дверьми, люди бродили по двору лагеря с чемоданами.

Я оставлял барак одним из последних. Среди старой, поношенной обуви, разбитых чашек, ненужных и закопченных кастрюль, котелков и прочего домашнего скарба, выброшенного за ненадобностью, я увидел несколько новых Евангелий. Это были книги, которые только вчера мы раздавали людям и которые люди в большинстве охотно принимали. Тяжело было от сознания, что многие славяне так непочтительны к Слову Божьему, так смело и рискованно отвергают Его зов.

Я поднял несколько книг и взял их с собою на пароход. Знал: будут нужны.

Во дворе лагеря я встретился со знакомым литератором и рассказал ему об этом.

— Скучная книга — Евангелие. Читал я когда-то. Выдумки, — ответил он и тут же поспешил поправить-ся: — А в Бога я верю. Не безбожник, не коммунист...

— Откуда же мы знаем о Боге, если не из Евангелия? — спросил я.

— А что нужно знать о Боге? Признавать Его и без Евангелия можно.

— Дело не в одном признании. Признать, поверить и принять Христа как личного Спасителя — вот что нужно, — говорил я ему в вагоне на пути к пароходу.

— Для меня лучше один раз увидеть, чем сто раз поверить. Больше пользы. Что верить, когда ничего не видно, — отвечал литератор, переходя на тон спора.

— Как же видеть, если глаза закрыты? — спросил я.

— Ну, это уж, допустим, не так... Глаза у меня орлиные. Политических проходимцев насквозь вижу. А что касается Бога — не мое это дело, — не без гордости закончил литератор и сразу же переключился на свою излюбленную тему об украинцах-шовинистах и русских националистах.

14 ноября, в темную, непроглядную полночь, пароход «Генерал Гарри Тейлор» внезапно вздрогнул, глухо загудел и, заметно покачивая наши кровати, отшвартовался и взял курс на Америку.

Утром в проливе Ла-Манш пароход отчаянно качало. Ноябрь — тяжелый месяц для плавания. Шел крупный дождь. Сильный ветер не давал открыть двери, чтобы выйти на палубу. Стеной поднимались высокие беловерхие волны и били в судно, бросая его, как щепку. Многие заболели морской болезнью, сидели на ступеньках с белыми мешочками наготове, которыми не забыли нас снабдить в Бремене.

Меня непривычно тошнило. Я с трудом выбрался на палубу, для безопасности обтянутую канатом. Хотелось глотнуть свежего морского воздуха. Навстречу мне, сгибаясь под сильным ветром, два матроса спешно несли носилки. Я последовал за ними. У кормы уже стояли несколько пассажиров и эмиграционный чиновник, а на полу лицом, обращенным к небу, недвижимо лежал человек. Я взглянул на него. Меня охватил небывалый страх. На палубе лежал тот молодой парень, который всего только два дня назад в Бремене не пожелал иметь Евангелие и бросил его на стол. Узкий красивый рот его был полуоткрыт, словно он хотел что-то сказать, большие помутневшие глаза его были полуприщурены, мокрый порывистый ветер небрежно трепал его густые черные волосы.

Вскоре мы узнали подробности о случившемся на пароходе несчастье. Молодой пассажир, страдая морской болезнью, вышел утром на палубу. Прогуливаясь, он поскользнулся и под сильным порывом ветра упал навзничь, при этом ударился головою о железную решетку. Матросы нашли его мертвым.

Днем я встретил литератора в столовой. Он ел с аппетитом, и я завидовал ему. О морской болезни он не имел представления.

— Вот вам и тема написать правдивый рассказ, — сказал я ему, когда речь зашла о роковой смерти молодого пассажира, которого, как сообщили его друзья, ожидала в Чикаго невеста.

— Я не люблю такие темы, — пробурчал себе под нос литератор, очищая тарелку куском необыкновенно белого американского хлеба. Он был явно не в духе.

На следующий день эмиграционные чиновники разрешили нам устроить евангельское собрание. В большом зале пароходного клуба собрались люди. Литератора не было, хотя я его приглашал.

После обеда ветер дул умеренно. Впервые над океаном выглянуло красное солнце. Неугомонно кричали прожорливые чайки. У бортов стояли любопытные пассажиры. Многие совершали путь через океан впервые. На палубе появились матросы, одетые в парадную форму. Машина резко перешла на тихие обороты, «Генерал Тейлор» замедлил ход и вскоре остановился.

— Что это значит? — спросил я у знакомого.

— А ты разве не знаешь? Похороны будут. Пойдем ближе, посмотрим...

Тело несчастного молодого человека, зашитое в белый мешок, подняли на палубу. Два матроса привязали к мешку цементную глыбу для веса. На борту укрепили специальную доску для спуска тела.

Пришел капеллан, молодой серьезный американец. Личный состав корабля выстроился в ряды. На палубе установилась тишина. Капеллан открыл Евангелие и начал чтение: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти... Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим».

Я оглянулся. Вблизи меня стоял литератор. Внимательно слушая слова капеллана, он весь погрузился в раздумье. На большом чистом лбу его обозначились складки. Наклонив голову, он смотрел

за борт. Несмотря на безветрие, там кипел океан, поскрипывали снасти.

Затем раздалась команда капитана, и над телом склонили американский звездный флаг. Белый мешок скользнул по доске бесшумно, но, тяжело ударившись о воду, обдал крупными брызгами борт парохода.

Тотчас загудели машины. Набирая скорость, пароход взял тот же курс, оставляя за собой бурлящий и пенистый след.

Уже было темно, когда в толпе, бесцельно снующей по палубе, я заметил литератора.

— Вы знаете, — сказал он, — после этого случая, что я был свидетелем, у меня вдруг пропал интерес к политике.

— Почему? — спросил я.

— Жизнь уж больно коротка. Много не сделаешь. А мир все равно нас не понимает... Наверное, я изменю курс. Пора и о душе подумать.

— Бог вам в помощь, — сказал я, не скрывая радости.

— Жалеть не будете.

— Кстати, нет ли у вас лишнего Евангелия? Надо бы мне кое-что там посмотреть, — несколько смущенно сказал литератор.

И он охотно принял Новый Завет, который я нашел в бременской казарме.

В Новом Орлеане мы расстались друзьями.

* * *

С тех пор прошло восемь лет.

Восемь лет Христос хранил меня в вере, был моей

опорой и защитой. «Се, Я с вами во все дни до скончания века» — Его обетование. Оно непоколебимо истинно.

Я не знаю, что может быть отраднее сознания, что Христос, Сын Божий, — мой Искупитель, мой Пастырь. Единый, Безначальный, Вечный.

В этом моя радость.

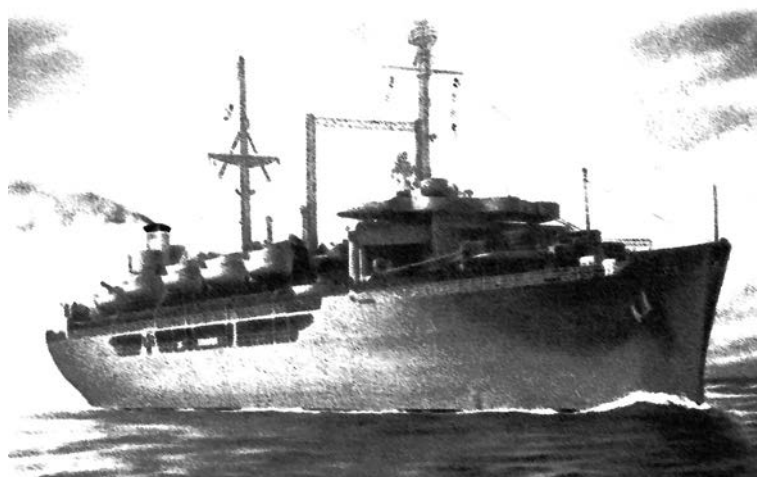
Она побудила меня написать это свидетельство. Невозможно быть спасенным Христом и не сказать об этом другим.

Ваше дело — верить или не верить. Но все, что вы, дорогой читатель, прочли в этой книжке, исходило из сердца.

Если эти строки помогут вам обрести мир с Богом и спасение души, скажите об этом другим.

Ему, Спасителю душ наших, слава!





Николай Водневский

Под покровом Всевышнего

Директор Павел Давидюк

Редактор Елена Пеннер

Корректор Эльвира Цорн

Компьютерная верстка Андрея Цорна

Свидетельство о государственной регистрации,
№ 1 074 107 0004 023994,
выдано Шевченковской районной в г. Киеве
государственной администрацией 13.10.09.

Изд. № 01.332. Подписано в печать 10.03.16.
Бумага 80 гр. Lux Cream. Формат 84x108/32.
Гарнитура: AGOrusHR, AGaramondPro, AcademyC, DecorC.
Печать офсет. Усл. печ. л. 8,4. Тираж 12 000 экз.
Заказ № 00674312.

УМО «Світло на Сході»,
ул. Хорольская, 30, 02090, г. Киев, Украина.

Отпечатано в типографии CPI books GmbH,
Eberhard-Finckh-Straße 61, 89075 Ulm, Germany.

